

Карл Ясперс

Вопрос
о виновности

*О политической
ответственности
Германии*

Karl Jaspers

Die Schuldfrage

*Von der politischen
Haftung Deutschlands*

*Piper
München, Zürich
1965*

Карл Ясперс

Вопрос о виновности

*О политической
ответственности Германии*

Перевод с немецкого С. Анта

Москва

Издательская группа «Прогресс»

1999

УДК 1
ББК 87.7
Я 83

Художник *А.Ю. Никулин*
Редактор *Л.Н. Павлова*

Ясперс К.

Я 83 Вопрос о виновности: Пер. с нем. — М.:
Издательская группа «Прогресс», 1999. — 146 с.

Трактат крупнейшего мыслителя XX века Карла Ясперса (1883—1969), написанный им после разгрома германского фашизма, в дни Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками.

УДК 1
ББК 87.7

© Перевод на русский язык
С. Апта, 1999
© Издательская группа
«Прогресс», 1999

ISBN 5-01-004642-3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Из цикла лекций о духовной ситуации в Германии, прочитанных в зимний семестр 1945/46 года, здесь публикуется содержание уроков, посвященных вопросу виновности.

Всеми этими рассуждениями я, как немец среди немцев, хочу способствовать ясности и единодушию, а как человек среди людей участвовать в наших поисках истины.

Гейдельберг, апрель 1946

ВВЕДЕНИЕ В ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ О ДУХОВНОЙ СИТУАЦИИ В ГЕРМАНИИ

Мы в Германии должны сообща разобраться в духовных вопросах. У нас еще нет общей почвы. Мы только пытаемся сблизиться друг с другом.

То, что я излагаю вам, возникло из разговоров, которые все мы ведем, каждый в своем кругу.

С мыслями, которые я изложу, пусть каждый поступает по-своему, не надо просто принимать их на веру, надо представить их себе и проверить.

Давайте научимся говорить друг с другом. То есть давайте не только повторять свое мнение, а слушать, что думает другой. Давайте не только утверждать, но и связно рассуждать, прислушиваться к доводам, быть готовыми посмотреть на вещи по-новому. Давайте попробуем мысленно становиться на точку зрения другого. Более того, давайте прямо-таки выискивать все, что противоречит нашему мнению. Уловить общее в противоречащем важнее, чем поспешно отметить исключаящие друг друга позиции, при которых уже нет смысла продолжать разговор.

Очень легко запальчиво отстаивать решительное суждение; трудно что-то спокойно представить себе. Легко прекратить разговор упрямыми утверждениями; трудно неукоснительно, не ограничиваясь утверждениями, проникать в суть истины. Легко подхватить какое-то мнение и держать-

ся за него, чтобы избавить себя от дальнейших раздумий; трудно шаг за шагом продвигаться вперед и никогда не отмахиваться от дальнейших вопросов.

Мы должны вновь обрести готовность к размышлению. Для этого нам нужно не опьянять себя чувством гордости, отчаяния, возмущения, упрямства, мести, презрения, а заморозить эти чувства и посмотреть, как обстоит дело в действительности.

Но при разговоре надо учитывать и обратное: легко все продумывать, ни к чему себя не обязывая и ни на что не решаясь; трудно при ярком свете непредвзятой мысли принять истинное решение. Легко за словами увильнуть от ответственности; трудно держаться принятого решения, но без упрямства. Легко в каждой конкретной ситуации идти по линии наименьшего сопротивления; трудно, руководствуясь этим безусловным решением, держаться при всей подвижности и гибкости мысли определившегося пути.

Мы неизбежно коснемся вопросов нашего происхождения, если мы действительно способны говорить друг с другом. Для этого в нас всегда должно оставаться что-то, что доверяет другому и заслуживает доверия. Тогда в диалоге возможна та тишина, в которой вместе слушают и слышат правду.

Поэтому не будем злиться друг на друга, а попытаемся сообща найти путь. Запальчивость свидетельствует против правдивости говорящего. Не будем патетически бить себя в грудь, чтобы обидеть другого, не будем самодовольно восхвалять то, что предназначено лишь для оскорбления другого. Но не надо никаких ограничений ради щадящей сдержанности, никаких смягчений умолча-

нием, никаких утешений обманом. Нет такого вопроса, которого нельзя было бы поставить, нет такого полюбившегося убеждения, такого чувства, такой кардинальной лжи, которые следовало бы защищать. Но уж вовсе непозволительно бросаться вызывающими, необоснованными, скороспелыми суждениями. Мы составляем одно целое; мы должны чувствовать свою общность, когда говорим друг с другом.

В таком разговоре никто не судья другому, каждый одновременно обвиняемый и судья. Все эти годы мы вместе слушали, как объявляют презренными других людей. Мы не хотим продолжать в том же духе.

Но удается нам это всегда только отчасти. Мы все склонны оправдывать себя и осыпать обвинениями силы, которые представляются нам враждебными. Сегодня мы должны проверять себя строже, чем когда-либо. Уясним себе следующее: в ходе вещей всегда кажется, что прав тот, кто выжил. Кажется, что успех — свидетельство правоты. Кто выплывает на поверхность, тот считает, что его дело правое. Отсюда — глубокая слепая несправедливость к потерпевшим крах, к слабым, к тем, кто растоптан событиями.

Так бывает всегда. Таков был прусско-немецкий шум после 1866 и 1870 годов, вызвавший ужас у Ницше. Таков был более дикий шум национал-социализма после 1933 года.

И теперь мы сами должны спросить себя, не поднимаем ли мы снова какой-то шум, не мним ли себя правыми, не возводим ли в некую легитимность просто то, что мы выжили и не страдались.

Нам должно быть ясно: тем, что мы живы и выжили, мы обязаны не самим себе; если у нас те-

перь создалась новая обстановка с новыми возможностями среди страшной разрухи, то достигли мы этого отнюдь не собственной силой. Не будем притязать на легитимность, которая нам не причитается.

Точно так же, как каждое немецкое правительство есть сегодня авторитарное правительство, назначенное союзниками, каждый немец, каждый из нас, обязан сферой своей деятельности воле или разрешению союзников. Это жестокий факт. Наша правдивость заставляет нас не забывать о нем ни на один день. Он предохраняет нас от заносчивости, учит нас скромности.

И сегодня, как в любое время, есть возмущенные люди, которые считают, что они правы, и ставят себе в заслугу то, что произошло благодаря другим.

Никто не в силах избежать этой ситуации полностью. Мы сами возмущены. Пусть возмущение очистится. Мы боремся за чистоту души.

Для этого нужна не только работа разума, но и вызванная им работа сердца. Вы, слушая эти лекции, будете соглашаться или не соглашаться со мной, да и сам я буду продвигаться в своих раздумьях не без волнения. Хотя при монологе одной стороны фактически разговора не будет, мне не избежать того, что кто-то почувствует себя чуть ли не лично задетым. Заранее прошу: простите, если обижу. Я этого не хочу. Но я собираюсь как можно осмотрительнее высказать самые радикальные мысли.

Если мы научимся говорить друг с другом, мы добьемся большего, чем связь между нами. Мы создадим необходимую основу для того, чтобы говорить с другими народами.

В полной откровенности и честности заключено не только наше достоинство, которое возможно и в бессилии, — в них и наш шанс. Перед каждым немцем стоит вопрос, хочет ли он идти этим путем, рискуя всяческими разочарованиями, рискуя дальнейшими потерями, рискуя дать повод для злоупотреблений властям. Ответ: это единственный путь, который охранит нашу душу от положения парии. Что ждет нас на нем, нам надо увидеть. Это рискованное духовно-политическое предприятие на краю пропасти. Если успех возможен, то только нескорый. Нам еще долго будут не доверять.

Поза гордого молчания — это на короткий срок, может быть, и оправданная маска, за которой можно перевести дух и опомниться. Но она становится самообманом, а по отношению к другому — лукавством, если позволяет упрямо замкнуться в себе, воспротивиться ясности, уклониться от окружающей реальности. Гордость, ложно считающая себя мужественной, а на самом деле увиливающая, прибегает к молчанию как к последнему оставшемуся при полной беспомощности боевому приему.

Говорить друг с другом в Германии сегодня затруднительно, но это — главная задача, ибо мы чрезвычайно отличаемся друг от друга в том, что мы испытали и чувствовали, в том, чего мы желали и что делали. Под покровом вынужденной, внешней общности скрывают то, что полно возможностей и теперь может развиваться.

Мы должны научиться видеть трудности ситуаций и позиций, совершенно не похожих на наши собственные, и научиться сочувствию.

Общее у нас, немцев, сегодня в основном, пожалуй, лишь негативно: принадлежность к населе-

нию полностью побежденного государства, отданного на милость или немилость победителей; отсутствие общей, всех нас соединяющей почвы: каждый предоставлен, по сути, самому себе, и все же каждый в отдельности беспомощен. Общее у нас — разобщенность.

В молчании, под нивелирующие речи официальной пропаганды этих двенадцати лет, мы занимали очень разные внутренние позиции. У нас в Германии нет единства ни душ, ни оценок, ни желаний. То, во что мы все эти годы верили, что считали правдой, что составляло для нас смысл жизни, было очень несходно, поэтому теперь и меняться каждый должен по-своему. Мы все меняемся. Но не все мы идем одним и тем же путем к новой, вновь соединяющей нас почве, которую мы ищем. Каждый должен в такой катастрофе переплавиться и родиться вторично, не боясь, что это его опозорит.

Если теперь всплывают на поверхность различия, то потому, что в течение двенадцати лет открытая дискуссия была невозможна, что и в частной жизни всякая оппозиционность ограничивалась задушевными беседами, а порой сдерживала себя и перед друзьями. Публичным и общим, а потому суггестивным и почти естественным для выросшей среди этого молодежи был только национал-социалистический способ думать и говорить.

Сегодня, когда мы опять можем свободно говорить, у нас такое ощущение, будто мы пришли из разных миров. Однако все мы говорим на немецком языке, и все родились в этой стране, и здесь наша родина.

Мы хотим пробиться друг к другу, говорить друг с другом, попытаться убедить друг друга.

Диаметрально различно было наше восприятие событий: одни пережили катастрофу национального бесчестия уже в 1933 году, другие — в июне 1934 года, третьи — в 1938-м, во время еврейских погромов, иные — в 1942-м, когда поражение стало вероятным, или в 1943-м, когда сомнений в нем уже не было, а некоторые лишь в 1945-м, когда оно и в самом деле последовало. Для первых 1945 год был годом освобождения и новых возможностей, для других это были самые трудные дни, потому что пришел конец мнимо национальной империи.

Некоторые, увидев истоки беды, сделали самые радикальные выводы. Они уже в 1933 году желали вмешательства западных держав: коль скоро двери немецкой тюрьмы захлопнулись, освобождение может прийти только извне. Будущее немецкой души связывалось с этим освобождением. Чтобы немецкая суть не была уничтожена полностью, братским государствам западной ориентации следовало в общеевропейских интересах осуществить это освобождение как можно скорее. Такого освобождения не произошло, путь продлился до 1945 года, до полнейшего истощения всех наших физических и нравственных сил.

Но это отнюдь не наше общее мнение. Кроме тех, кто видел или все еще видит в национал-социализме золотой век, существовали противники национал-социализма, которые были все же убеждены, что победа гитлеровской Германии не приведет к уничтожению немецкой сути. Наоборот, в такой победе они видели задатки великого будущего Германии, полагая, что победоносная Германия избавится от этой партии, будь то сразу.

же или со смертью Гитлера. Они не верили старой идее, что всякая государственная власть может держаться лишь на тех силах, которые ее основали, не верили, что по самой природе вещей террор именно после победы наберет силу, что после победы и роспуска армии Германию, как народ рабов, возьмет за горло СС, чтобы вершить унылое, разрушительное, убишающее свободу господство, при котором все немецкое задохнется.

В отдельных своих проявлениях нынешняя беда чрезвычайно разнообразна. У каждого, конечно, свои заботы, свои чувствительные ограничения, свои физические страдания, но очень большая разница, есть ли еще у человека жилье и домашняя утварь или его дом разбомбили; страдал ли он и терпел потери, сражаясь на фронте или сидя дома или в концлагере; принадлежал ли он к преследуемым гестапо или к пользовавшимся, хоть и со страхом, благами при нацистском режиме. Почти каждый терял друзей и родных, но как он терял их, в бою на фронте, во время бомбежки, в концлагере или при массовых убийствах, которые совершал режим, — это имеет следствием очень различные внутренние позиции. У беды много разновидностей. Большинство по-настоящему чувствует только свою собственную. Каждый склонен считать утраты и страдания жертвой, но за что была принесена жертва, толкуется до такой степени по-разному, что именно это и разъединяет людей.

Огромно различие, вызванное потерей веры. Только церковная или трансцендентно обоснованная философская вера может выдержать все эти катастрофы. То, что имело вес в мире, пришло в негодность. Верующий националист может лишь мыслями, которые еще абсурднее, чем

мысли того времени, когда он господствовал, гоняться за своими рассыпавшимися мечтами. Националист стоит в растерянности между очевидной для него порочностью национал-социализма и реальностью положения Германии.

Все эти различия постоянно приводят к разрыву между нами, немцами, тем более что наша жизнь лишена общей этической-политической основы. У нас есть лишь призраки действительно общей политической почвы, стоя на которой мы могли бы сохранять солидарность даже при самых горячих спорах. Нам очень не хватает способности говорить друг с другом и слушать друг друга.

Хуже того, многие люди не хотят по-настоящему думать. Они ищут только лозунгов и повиновения. Они не спрашивают, а если отвечают, то разве что повторением заученных фраз. Они умеют только повиноваться, не проверять, не понимать, и поэтому их нельзя убедить. Как говорить с людьми, которые отстраняются там, где надо проверять и думать и где люди идут к своей самостоятельности через понимание и убеждение!

Германия сможет прийти в себя, если мы, немцы, через общение пробьемся друг к другу. Если мы научимся действительно говорить друг с другом, то только при сознании, что мы очень различны.

Единство через принуждение ничего не стоит, оно, как призрак, рассыпается при катастрофе.

Единодушие через разговор друг с другом и понимание ведет к прочному объединению.

Когда мы будем говорить о типичном, никто не должен относить себя к той или иной категории. Кто все примет на свой счет, тот пусть сам за это и отвечает.

ВОПРОС О ВИНОВНОСТИ

Почти весь мир выступает с обвинением против Германии и против немцев. Наша вина обсуждается с возмущением, с ужасом, с ненавистью, с презрением. Хотят наказания и возмездия. В этом участвуют не только победители, но и некоторые немецкие эмигранты, даже граждане нейтральных государств. В Германии есть люди, которые признают вину, не делая исключения для самих себя, есть и много таких, которые считают себя невиновными, но возлагают вину на других.

Проще всего уйти от вопроса. Мы живем в нужде, большая часть нашего населения — в настолько большой, настолько непосредственной нужде, что ей уже, кажется, не до таких разборов. Ее интересует то, что может побороть нужду, дать работу и хлеб, жилье и тепло. Горизонт сузился. Люди не хотят слышать о виновности, о прошлом, их не заботит мировая история. Они хотят просто перестать страдать, хотят выкарабкаться из нищеты, хотят жить, а не размышлять. Настроение скорее такое, словно после столь страшных страданий следовало бы ждать вознаграждения, на худой конец утешения, но уж никак не взваливать на себя еще и вину.

Тем не менее даже тот, кому хуже некуда, мимолетно чувствует стремление к спокойной правде. То, что к нужде прибавляется еще и обвинение, это не пустяк и не просто повод для раздражения.

Мы хотим ясности — справедливо это обвинение или несправедливо и в каком смысле. Ибо именно в нужде может быть особенно ощутимо самое необходимое: навести чистоту в собственной душе, думать и поступать так, чтобы этим можно было жить при полном разорении. Мы, немцы, все без исключения, действительно обязаны иметь ясность в вопросе нашей виновности и сделать из этого выводы. Наше человеческое достоинство обязывает нас к этому. Уже то, что думает о нас мир, не может быть нам безразлично; ибо мы знаем, что составляем часть человечества, мы сначала люди, а потом немцы. Но еще важнее для нас то, что наша собственная жизнь в нужде и зависимости может обрести достоинство только при правдивости перед самими собой. Вопрос виновности — это еще в большей мере, чем вопрос других к нам, наш вопрос к самим себе. От того, как мы ответим на него в глубине души, зависит наше теперешнее мировосприятие и самосознание. Это вопрос жизни для немецкой души. Только через него может произойти поворот, который приведет нас к обновлению нашей сути. Когда нас объявляют виновными победители, это имеет, конечно, серьезнейшие последствия для нашего существования, носит политический характер, но не помогает нам в самом важном — совершить внутренний поворот. Тут мы предоставлены самим себе. Философия и богословие призваны осветить глубину вопроса виновности.

Рассуждения по вопросу виновности страдают смешением понятий и точек зрения. Чтобы держаться правды, нужны разграничения. Я набросаю эти разграничения сначала схематически, чтобы затем с их помощью прояснить наше, немцев, теперешнее положение. Разумеется, разграниче-

ния эти не абсолютны. В конечном счете корень того, что мы называем виной, находится в чем-то одном, всеохватывающем. Но уяснить это можно только путем разграничений.

Наши темные чувства не заслуживают безоговорочного доверия. Непосредственность, спору нет, — это настоящая действительность, это сиюминутность нашей души. Но чувства — это не просто некая жизненная данность. Они обусловлены нашим внутренним поведением, нашими мыслями, нашим знанием. Они углубляются и проясняются в той мере, в какой мы мыслим. На чувство как таковое положиться нельзя. Сослаться на чувство — это наивность, уклоняющаяся от объективности познаваемого и мыслимого. Только всесторонне обдумав и представив себе что-то — а чувства этот процесс постоянно сопровождают, направляют его и мешают ему, — мы приходим к истинному чувству, на которое можно положиться в жизни.

А. СХЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЙ

1. Четыре понятия виновности

Следует различать:

1. *Уголовную виновность*. Преступления состоят в объективно доказуемых действиях, нарушающих недвусмысленные законы. *Инстанцией* является суд, который с соблюдением формальностей точно устанавливает состав преступления и применяет соответствующие законы.

2. *Политическую виновность*. Она состоит в действиях государственных деятелей и в принадлежности к гражданам определенного государства, в силу чего я должен расплачиваться за последствия действий этого государства, под властью которого нахожусь и благодаря укладу которого существую (политическая ответственность). Каждый человек отвечает вместе с другими за то, как им правят. *Инстанцией* является власть и воля победителя — как во внутренней, так и во внешней политике. Решает успех. Умерить произвол и власть могут политическая мудрость, думающая о дальнейших последствиях, и признание норм, именуемых естественным правом и международным правом.

3. *Моральную виновность*. За действия, которые я всегда совершаю как данное отдельное лицо, я несу моральную ответственность, причем за все свои действия, в том числе и за политические и военные действия, совершенные мной. Нельзя

просто сослаться на то, что «приказ есть приказ». Поскольку преступления остаются преступлениями и тогда, когда они совершены по приказу (хотя в зависимости от степени опасности, принуждения и террора возможны смягчающие обстоятельства), каждое действие подлежит и моральной оценке. *Инстанцией* являются *собственная совесть*, а также общение с другом и близким, любящим человеком, которому не безразлична моя душа.

4. *Метафизическую виновность*. Есть такая *солидарность* между людьми как таковыми, которая делает каждого тоже ответственным за всякое зло, за всякую несправедливость в мире, особенно за преступления, совершаемые в его присутствии или с его ведома. Если я не делаю, что могу, чтобы предотвратить их, я тоже виновен. Если я не рискнул своей жизнью, чтобы предотвратить убийство других, но при этом присутствовал, я чувствую себя виноватым таким образом, что никакие юридические, политические и моральные объяснения тут не подходят. То, что я продолжаю жить, когда такое случилось, ложится на меня неизгладимой виной. Если счастливая судьба не избавляет нас от этой ситуации, мы, как люди, подходим к рубежу, где надо выбрать: либо бесцельно, ибо видов на успех нет, безоговорочно отдать жизнь, либо ввиду невозможности успеха остаться жить. То, что где-то среди людей действует обязательная потребность жить либо вместе, либо вовсе не жить, если над кем-то чинят зло или идет дележ физических средств к жизни, это как раз и составляет человеческую сущность. Но ничего этого ни в общечеловеческой, ни в общегражданской солидарности, ни даже в солидарности каких-то маленьких групп нет, это ограничивается самыми тесными челове-

ческими связями, и вот в этом-то и состоит всеобщая наша виновность. *Инстанция* — один лишь Бог...

Это разграничение четырех понятий виновности проясняет смысл упреков. Так, например, политическая виновность хоть и означает ответственность всех граждан данного государства за последствия его действий, но не означает уголовной и моральной виновности каждого отдельного гражданина в преступлениях, совершенных именем этого государства. Относительно преступлений — судить судье, относительно политической ответственности — победителю; относительно моральной виновности можно поистине только в боре любви говорить солидарным между собой людям. Относительно метафизической виновности возможно, пожалуй, откровение в конкретной ситуации, в поэтическом или философском произведении, но о ней вряд ли можно что-либо сообщить лично от себя. Она глубже всего осознана теми людьми, которые однажды испытали выше-названную обязательную потребность, но сплеховали как раз потому, что эта потребность не распространяется у них на всех людей. Остается стыд от чего-то всегда присутствующего, не имеющего конкретного обозначения и определимого разве лишь в самых общих чертах.

Разграничения между понятиями виновности уберегут нас от пошлого разглагольствования о вине, при котором всё без градаций сводится к одной-единственной плоскости, чтобы решить дело с кондачка, как то свойственно плохим судьям. Но эти разграничения в конце концов доведут нас до такого истока, о котором прямо-таки невозможно говорить как о нашей вине.

Вот почему все такие разграничения становятся ошибкой, если упустить из виду, что и разграниченное очень тесно связано между собой. Каждое понятие виновности обнаруживает реальности, имеющие последствия для сфер других понятий виновности.

Если бы мы могли освободиться от той метафизической вины, мы были бы ангелами, а все три остальных понятия виновности стали бы беспредметны.

Моральные оплошности — это почва для условий, при которых как раз и вырастают политическая вина и преступление. Бесчисленные мелкие небрежности, приспособленчество, дешевые оправдания несправедливости, незаметное потворствование несправедливости, участие в создании общественной атмосферы, распространяющей неясность и тем самым делающей возможным зло, — все это имеет последствия, которые тоже создают предпосылки для политической вины за обстановку и события.

К области моральной относится также неясность насчет значения власти в совместной жизни людей. Замалчивание этого важнейшего обстоятельства — такая же вина, как ложная абсолютизация власти, делающая из нее единственный определяющий фактор событий. Это рок каждого человека — быть впутанным в уклад власти, благодаря которому он живет. Это неизбежная вина всех, вина человеческого бытия. Ей противодействуют, беря сторону той власти, которая осуществляет право, права человека. Неучастие в формировании уклада власти, в борьбе за власть в смысле служения праву есть главная политическая вина, являющаяся в то же самое время и виной моральной. Политическая вина становится моральной

виной, когда властью уничтожается смысл власти — осуществление права, этическая чистота собственного народа.

Из морального образа жизни большинства отдельных людей, широких кругов народа в повседневном поведении складывается всегда определенное политическое поведение, а тем самым и политическая обстановка. Но отдельный человек живет опять-таки в исторически уже сложившейся политической обстановке, которая была создана этикой и политикой предков и стала возможна благодаря данному положению в мире. Тут есть две схематически противоположные возможности:

Этика политики — это принцип государственной жизни, в которой все участвуют своим сознанием, своими знаниями, своими мнениями и желаниями. Это жизнь политической свободы как постоянное движение упадка и налаживания. Эта жизнь достижима благодаря тому, что перед каждым стоит задача и каждому предоставляется возможность разделять ответственность.

Или же царит такое положение, когда большинство чуждо политики. Государственная власть не ощущается как свое дело. Не чувствуешь за собой ответственности, наблюдаешь за политикой сложа руки, работаешь и действуешь в слепом послушании. У тебя чистая совесть и от послушания, и от непричастности к решениям и действиям власть имущих. Человек терпит политическую реальность как нечто чуждое, он старается перехитрить ее ради своих личных выгод или живет в слепом восторге самопожертвования.

Вот в чем разница между политической свободой и политической диктатурой. Но определенным людям обычно не надо решать, какое положение будет царить. Отдельный человек рождается в уже

сложившемся мире по воле счастья или по воле рока; он должен унаследовать то, что осталось от прошлого и существует реально. Никто в отдельности и никакая группа не может одним махом изменить это условие, благодаря которому мы и вправду все живы.

2. Последствия виновности

Виновность имеет внешние последствия для жизни, понимает ли это тот, кого они касаются, или нет, а внутренние последствия, для самосознания, она имеет, если человек видит свою вину.

а) Преступление находит *наказание*. Для этого нужно лишь признание виновности со стороны судьбы в его свободном волеизъявлении, а не признание наказанного, что его наказывают по праву.

б) При политической виновности существует *ответственность* и, как ее следствие, возмещение ущерба, а затем потеря или ограничение политической власти и политических прав. Если политическая виновность связана с событиями, которые решаются войной, то последствиями для побежденных могут быть уничтожение, депортация, истребление. Победитель также может придать этим следствиям форму права, а значит, и меры, если захочет.

в) Из *моральной* виновности рождается осознание, а тем самым *раскаяние* и обновление. Это внутренний прогресс, который имеет потом и реальные последствия в мире.

г) *Метафизическая* виновность имеет последствием *изменение человеческого самосознания* перед Богом. Гордость оказывается сломлена. Это самозменение через внутреннюю работу может привести к новому началу активной жизни, но связано с неизгладимым сознанием виновности, со

смирением перед Богом, которое погружает всякую деятельность в такую атмосферу, где гордыни не может быть.

3. Сила. Право. Милость

Что люди, если они не могут договориться, решают дело силой и что всякий государственный уклад есть обуздание этой силы, но таким образом, что сила остается монополией государства (на установление права внутри страны и на ведение войны с внешними врагами), — это в спокойные времена почти забывалось.

Когда с войной наступает господство силы, право кончается. Мы, европейцы, пытались и в этих условиях поддержать остаток правопорядка нормами международного права, которые действуют во время войны и были последний раз закреплены в Гаагской и Женевской конвенциях. Кажется, из этого ничего не вышло.

Где применяется сила, там порождается сила. Победитель решает, что будет с побежденным. Действует принцип *vae victis*¹. У побежденного один выбор: либо умереть, либо делать и терпеть то, чего хочет победитель. Побежденный предпочитает остаться в живых.

Право — это высокая идея людей, строящих свое существование на некоем начале, которое гарантируется, впрочем, только силой. Когда люди сознают, что они люди, и признают человека человеком, они осмысливают права человека и опираются на естественное право, апеллировать к которому может каждый — и победитель и побежденный.

¹ Горе побежденным (*лат.*).

Как только возникает идея права, можно вести переговоры, чтобы путем дискуссий и методического продвижения найти истинное право.

То, что в случае полной победы признается справедливым в отношениях между победителями и побежденными и для побежденных, — это и поныне весьма ограниченная область внутри событий, которые решаются политическими волевыми актами. Последние становятся основой позитивного, фактического права и сами уже не оправдываются ссылками на право.

Право может относиться только к виновности в смысле преступления и в смысле политической ответственности, но не к виновности моральной и метафизической.

Но признать право может и тот, кто является наказанной или ответственной стороной. Преступник может принять наказание как честь и реабилитацию. Политически ответственный может признать это перстом судьбы и принять как условие своего дальнейшего существования.

Милость — это акт, ограничивающий действие чистого права и уничтожающей силы. Человечность чувствует более высокую правду, чем та, которая заключена в прямолинейной последовательности как права, так и силы.

а) Несмотря на право, действует милосердие, чтобы дать место свободной от закона справедливости. Ибо всякое человеческое установление полно в своем действии недостатков и несправедливости.

б) Несмотря на возможность применения силы, победитель проявляет милость либо из целесообразности, потому что побежденные могут служить ему, либо из великодушия, потому что, сохраняя жизнь побежденным, он сильнее чувствует собст-

венную власть и важность или потому что в своем сознании он подчиняется требованиям общечеловеческого, естественного права, которое у побежденного, как и у преступника, не отнимает всех прав.

4. Кто судит и о ком или о чем судят?

Под градом обвинений возникает вопрос: кто кого? Обвинение основательно только тогда, когда оно определено своей точкой зрения и своим предметом и когда оно ограничено ими, обвинение ясно только тогда, когда знаешь, кто обвинитель и кто обвиняемый.

а) Расчленим смысл этого, исходя сперва из четырех видов виновности. Обвиняемый слышит *упреки извне*, идущие из мира, или *изнутри*, идущие от собственной души.

Извне они основательны, только если касаются преступлений и виновности политической. Они произносятся с желанием добиться наказания и возложить ответственность. Они имеют юридический и политический вес, не моральный и не метафизический.

Изнутри обвиняемый слышит упреки, касающиеся его моральной несостоятельности и его метафизической шаткости, а поскольку в этом заключено и начало политического действия или бездействия, они касаются и таковых.

Морально можно возлагать вину только на самого себя, не на другого, на другого разве что при солидарности борения в любви. Никто не может судить другого с точки зрения морали, разве только он судит его во внутреннем единении с ним, словно это он сам. Только там, где другой для меня как я сам, есть близость, которая в сво-

бодном общении может сделать общим делом то, что в конечном счете каждый делает в одиночестве.

Утверждать виновность другого — это значит касаться не убеждений, а только определенных поступков и определенного поведения. При индивидуальной оценке стараются, конечно, учесть убеждения и мотивы, но сделать это правдиво удастся лишь в той мере, в какой эти убеждения и мотивы можно определить по объективным признакам, то есть опять-таки по поступкам и поведению.

б) Вопрос в том, в каком смысле можно судить *коллектив*, а в каком — *только отдельное лицо*. Несомненно, есть основание возлагать на всех граждан данного государства ответственность за последствия действий этого государства. Здесь ответственен коллектив. Но эта ответственность определена и ограничена, в ней нет морального и метафизического обвинения отдельных лиц. Она касается и тех граждан, которые выступали против режима и вменяемых ему в вину действий. Аналогичным образом существует ответственность за принадлежность к каким-то организациям, партиям, группам.

За каждое преступление всегда можно наказать только отдельного человека, действовал ли он в одиночку или у него был ряд сообщников, каждого из которых можно призвать к ответу в зависимости от участия, а как минимум в силу самой принадлежности к данному обществу. Существуют бандитские группировки, заговоры, которые могут быть определены как преступные в целом. Тогда сама принадлежность к ним наказуема.

Но абсурдно обвинять в преступлении какой-либо народ в целом. Преступник всегда только одно лицо..

Абсурдно также морально обвинять какой-либо народ в целом. Не существует такого характера народа, чтобы каждое определенное лицо, принадлежащее к данному народу, обладало этим характером. Есть, конечно, общности языка, обычаев и привычек, происхождения. Но внутри этого одновременно возможны такие резкие различия, что люди, говорящие на одном и том же языке, могут оставаться настолько чуждыми друг другу, словно они вовсе не принадлежат к одному и тому же народу.

Морально можно судить только отдельное лицо, но не коллектив. Мышление, которое рассматривает, характеризует и судит людей коллективами, необычайно распространено. Такие характеристики — например, немцев, русских, англичан — улавливают не родовые понятия, под которые можно подвести отдельных людей, а типовые, которым они больше или меньше соответствуют. Смешение родового подхода с типологическим есть признак мышления категориями коллектива: эти немцы, эти англичане, эти норвежцы, эти евреи — и сколько угодно дальше: фрисландцы, баварцы — или: мужчины, женщины, молодежь, старичье. Если при типологическом подходе что-то и улавливается, то отсюда не следует, что через призму такой общей характеристики можно разглядеть любой индивидуум. Это мышление тянется через века как средство взаимной ненависти народов и групп людей. Это мышление, увы, естественное и само собой разумеющееся для большинства, самым скверным образом использовали национал-социалисты, вдолбив его в головы своей пропагандой. Казалось, будто уже нет людей, а есть только такие коллективы.

Народа как целого не существует. Все разграничения, которые мы делаем, чтобы определить его, перечеркиваются фактами. Язык, гражданст-

во, культура, общность судьбы — все это не совпадает, а пересекается. Народ и государство не совпадают, как не совпадают язык, общность судьбы, культура.

Народ нельзя превратить в индивидуум. Народ не может ни героически погибнуть, ни быть преступником, ни поступить нравственно или безнравственно, это могут всегда только отдельные его представители. Народ в целом не может быть виновен или невиновен ни в уголовном, ни в политическом (тут отвечают лишь граждане государства), ни в моральном смысле.

Категориальное суждение о народе — это всегда несправедливость; оно предполагает ложную субстанциализацию, оно оскорбляет достоинство человека как индивидуальности.

Мировое мнение, возлагающее на народ коллективную вину, — это факт такого же рода, как то, что тысячи лет думали и говорили: евреи виноваты в том, что Иисус был распят. Кто эти евреи? Определенная группа политических и религиозных радетелей, имевших тогда над евреями какую-то власть, которая в сотрудничестве с римскими оккупантами привела к казни Иисуса.

Могущество такого, становящегося чем-то само собой разумеющимся мнения столь поразительно потому, что это заблуждение так просто и явно. Стоишь как перед стеной, словно никаких доводов, никаких фактов не слышат, а если слышат, то сразу же забывают опять, не приняв во внимание.

Не может, следовательно, существовать (кроме политической ответственности) коллективной виновности народа или группы внутри народов ни как уголовной, ни как моральной, ни как метафизической виновности.

в) Для обвинения и упрека нужно право. *У кого есть право судить?* Перед каждым, кто судит, можно поставить вопрос, какие у него полномочия, с какой целью и по какому мотиву он судит, в каком положении стоят друг против друга он и судимый.

Никто не должен признавать никакого мирского суда, когда речь идет о моральной и метафизической виновности. То, что возможно перед любящими людьми при большой близости, непозволительно при дистанции холодного анализа. То, что обладает весом перед Богом, не обладает поэтому весом и перед людьми. Ибо у Бога нет на земле представляющей его инстанции ни в церковных, ни во внешнеполитических ведомствах государств, ни в возвещаемом через прессу мировом общественном мнении.

Когда судят в послевоенной обстановке, то абсолютной привилегией на суждение о политической ответственности обладает победитель: он ставил на карту свою жизнь, и решение выпало в его пользу. Но спрашивают: «Смеет ли вообще кто-то нейтральный выступать официальным судьей, коль скоро он не участвовал в борьбе и не рисковал жизнью ради главного дела?» (Из письма.)

Когда товарищи по судьбе, сегодня это немцы, говорят между собой о моральной и метафизической виновности применительно к отдельному лицу, то право судить ощущается в том, как держится и как настроен судящий: говорит ли он о вине, которую несет или не несет сам говорит ли он, стало быть, изнутри или извне, как саморазоблачитель или как обвинитель, то есть как близкий союзник, дающий ориентир для возможного

саморазоблачения других, или как чужой, который только нападает, говорит ли он как друг или как враг. Лишь в первом случае право его несомненно, во втором оно сомнительно и, уж конечно, ограничено мерой его любви.

Когда же говорят о политической ответственности и уголовной виновности, то у каждого из сограждан есть право разбирать факты и обсуждать их оценку на основании ясных, определенных понятий. Политическая ответственность имеет разные ступени в зависимости от степени участия в принципиально отвергаемом ныне режиме и определяется решениями победителей, которым каждый, пожелавший уцелеть в катастрофе, должен в силу того, что он жив, подчиняться.

5. Защита

Где предъявляется обвинение, там обвиняемый смеет претендовать на то, чтобы его выслушали. Где апеллируют к праву, там существует защита. Где применяется сила, там насилуемый обороняется, если может.

Если окончательно побежденный не может обороняться, ему — поскольку он хочет остаться в живых — ничего не остается, как признать, взять на себя и терпеть все последствия.

Когда же победитель что-то обосновывает, обсуждает, ответить может не сила, а только обессилевший дух, коль скоро такая возможность предоставляется. Защита возможна там, где человеку разрешается говорить. Победитель ограничивает свою власть, как только перенесет свои действия в плоскость права. У этой защиты есть следующие возможности:

1. Она может *настаивать на разграничении.*

Разграничение приводит к определению и частично снимает вину. Разграничение уничтожает тоталитарность, упрек становится ограниченным.

Смешение ведет к неясности, а неясность опять-таки чревата последствиями полезного ли, вредного ли, во всяком случае, несправедливого характера. Защита через разграничение способствует справедливости.

2. Защита может *приводить, подчеркивать и сравнивать факты.*

3. Защита может апеллировать к *естественному праву, к правам человека, к международному праву.* Такая защита имеет ограничения:

а) Государство, принципиально нарушившее естественное право и права человека сначала в собственной стране, а затем во время войны уничтожившее права человека и международное право в других странах, не может притязать на признание в своих интересах того, чего оно само не признавало.

б) Правом действительно обладаешь тогда, когда одновременно обладаешь и силой, чтобы бороться за свое право. При полном бессилии есть только возможность духовно взывать к идеальному праву.

в) Если естественное право и права человека признаются, то только волевым актом тех, кто обладает силой, — победителей. Это акт, основанный на их взгляде на вещи и на их идеале, — милость к побежденным в форме признания за ними какого-то права.

4. Защита может выявить, где обвинение не заботится об истине, а *используется как оружие* для других, например политических или экономических, целей, где оно смешивает понятия виновности и создает ложное мнение, чтобы снискать одобрение и в то же время очистить совесть для собственных действий. Эти последние объявляют-

ся правовыми и перестают быть ясными акциями победителя в положении *vae victis*. Зло, однако, остается злом, даже когда его творят как возмездие.

Моральные и метафизические упреки как средство для достижения политических целей должны быть просто отвергнуты.

5. Защита путём *отвода судьи* — либо потому, что есть основания объявить его пристрастным, либо потому, что дело по своему характеру человеку вообще неподсудно.

Признать надо наказание и ответственность — возмещение ущерба, но не требование раскаяния и возрождения, которые могут прийти лишь изнутри. Защищаться от таких требований остается только молчанием. Не надо заблуждаться насчет действительной необходимости этого внутреннего поворота, когда его ошибочно требуют извне, как повинности.

Это разные вещи — сознание виновности и признание за какой-либо инстанцией в мире роли судьи. Победитель, как таковой, еще не судья. Либо он сам меняет позицию борьбы и действительно приобретает право вместо чистой силы, ограничиваясь уголовной виновностью и политической ответственностью, либо ложно присваивает себе право на действия, которые сами заключают в себе опять-таки новую вину.

6. Защита пользуется *встречным обвинением*. Путем указания на такие действия другой стороны, которые тоже были одной из причин беды; путем указания на сходные действия другой стороны, которые у побежденного считаются преступными и таковыми в самом деле являются, путем указания на обстановку в мире вообще, которая означает общую виновность.

Б. НЕМЕЦКИЕ ВОПРОСЫ

Вопрос о виновности приобрел такой вес из-за обвинения, предъявленного победителями и всем миром нам, немцам. Когда летом 1945 года в городах и деревнях были вывешены плакаты с фотографиями и сообщениями из Бельзена и с решающей фразой: «Это ваша вина!», совесть заговорила, ужас охватил многих, которые действительно ничего не знали, и тогда кое-кто возмутился: «Кто это меня обвиняет?» Никакой подписи, никакого органа власти, плакат возник словно из пустоты. Это общечеловеческое свойство: обвиняемый, независимо от того, обвиняют ли его справедливо, старается защитить себя.

В политических конфликтах вопрос о виновности — старый вопрос. Он играл большую роль, например, в спорах между Наполеоном и Англией, между Пруссией и Австрией. Впервые, может быть, римляне пользовались в политических целях притязанием на собственную моральную правоту и моральным осуждением противника. Обратный пример: беспристрастность объективных греков, с одной стороны, и самообвинение древних евреев перед Богом — с другой.

То, что обвинение со стороны победителей стало нечистым по своим мотивам средством политики, — это само уже есть вина, проходящая через историю. После первой мировой войны виновность в войне была вопросом, который в Вер-

сальском договоре решился не в пользу Германии. Позднее историки всех стран не держались за чью-то одностороннюю единоличную виновность в войне. Тогда в войну «скатились» со всех сторон, как сказал Ллойд Джордж.

Сегодня дело обстоит совсем не так, как тогда. Вопрос виновности звучит совершенно иначе, чем прежде. Вопрос о виновности в войне на этот раз ясен. Война была развязана гитлеровской Германией. Германия виновата в войне из-за своего режима, который начал войну в выбранный им момент, когда все другие этого не хотели.

«Это ваша вина» значит, однако, сегодня гораздо больше, чем виновность в войне. Тот плакат уже забыт. Но то, что тогда узнали о нас, осталось: во-первых, реальность мирового общественного мнения, которое осуждает нас как народ в целом, во-вторых, собственное смущение.

Мировое общественное мнение нам важно. Это люди думают о нас так, и нам это не может быть безразлично. Вина становится затем средством политики. Поскольку мы считаемся виноватыми, мы — таково общее мнение — заслужили все беды, которые на нас свалились и еще свалятся. В этом заключено оправдание для политиков, которые расчленяют Германию, ограничивают возможности ее восстановления, оставляют ее без мира в состоянии между жизнью и смертью. Это вопрос политический, который не нам решать и в решение которого мы вряд ли можем — даже своим безупречным поведением — внести что-либо существенное. Это вопрос, разумно ли политически, целесообразно ли, безопасно ли, справедливо ли превращать целый народ в

народ-парию, ставить его ниже других народов, продолжать унижать его, после того как он сам унизил себя. Этого вопроса мы здесь касаться не будем, как и политического вопроса: необходимо ли и целесообразно ли, и в каком смысле, выступать с признанием своей вины. Возможно, что вердикт, вынесенный немецкому народу, останется в силе. Это имело бы для нас самые чудовищные последствия. Мы еще надеемся, что решение политиков и мнение народов будут когда-нибудь пересмотрены. Но наше дело — не обвинять, а терпеть. К этому вынуждает нас наше полное бессилие, в которое поверг нас национал-социализм, бессилие, из которого в нынешней технически обусловленной мировой ситуации выхода нет.

Но для нас гораздо важнее, как мы увидим себя извне, оценим и очистим. Те обвинения извне — уже не наше дело. Обвинения же изнутри, более или менее ясно хотя бы изредка звучащие в немецких душах вот уже двенадцать лет, — это, напротив, источник нашего еще возможного самоуважения, зависящего от того, как мы сами, стары ли мы или молоды, изменимся от идущих изнутри обвинений. Мы должны разобрать вопрос о немецкой вине. Это касается нас самих. Это делается независимо от упреков, которыми нас осыпают извне, хотя мы и можем пользоваться ими как зеркалом.

Та фраза: «Это ваша вина» — может означать:

Вы отвечаете за преступления режима, который вы терпели, — тут речь идет о нашей политической вине.

Ваша вина в том, что вы еще и поддерживали этот режим, участвовали в нем, — тут наша моральная вина.

Ваша вина в том, что вы бездействовали, когда рядом творились преступления, — тут намечается метафизическая вина.

Эти три фразы я считаю верными, хотя только первая, о политической ответственности, может быть сказана без обвиняков и правильна полностью, тогда как вторая и третья, о моральной и метафизической вине, становятся в юридической форме, как равнодушное заявление, неверными.

Далее «Это ваша вина» может означать:

Вы участвовали в тех преступлениях, а потому преступники сами — для подавляющего большинства немцев это явно неверно.

Наконец, это может означать:

Вы как народ неполноценны, бесчестны, преступны, вы изверги рода человеческого, вы не такие, как другие народы — это мышление и суждение в категориях коллектива, оно подчиняет каждый индивидуум этой общности и потому в корне неверно и бесчеловечно само.

После этих кратких предварений рассмотрим все подробнее.

I. РАСЧЛЕНЕНИЕ НЕМЕЦКОЙ ВИНОВНОСТИ

1. Преступления

В отличие от первой мировой войны, после которой нам не надо было признавать за собой специфических, совершенных только одной стороной преступлений (с чем согласна историография и противников Германии), сегодня очевидны преступления нацистского правительства, совершенные им перед войной в Германии, а во время войны — повсюду.

В отличие от первой мировой войны, после которой ответ историков всех народов на вопрос о виновности в войне не звучал в пользу какой-то одной стороны, эта война начата была Германией.

В отличие от первой мировой войны эта война в конце концов действительно стала мировой войной. Она застала мир в другой ситуации и с другим знанием. Ее смысл вступил в другое по сравнению с другими войнами измерение.

И сегодня мы видим нечто совершенно новое в мировой истории. Победители учреждают суд. *Нюрнбергский процесс* касается преступлений.

Это сразу проводит ясную границу в двух направлениях:

1. Не немецкий народ здесь под судом, а отдельные, обвиненные в преступлениях немцы — но в принципе все вожди немецкого режима. Эту границу американский представитель обвинения провел с самого начала. В своей основополагаю-

щей речи Джексон сказал: «Мы хотим ясно заявить, что не намерены обвинять весь немецкий народ».

2. Подозреваемые обвиняются не в целом, а из-за определенных преступлений. Эти преступления ясно определены в уставе Международного военного трибунала:

1. Преступления против мира: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны, нарушающей международные договоры...

2. Военные преступления: нарушения правил войны, будь то убийства, жестокости, депортации на принудительные работы применительно к представителям гражданского населения оккупированных территорий, убийство или жестокое обращение с военнопленными, разграбление общественной или частной собственности, умышленное разрушение городов или деревень или любое, не оправданное военной необходимостью опустошение.

3. Преступления против человечности: убийство, истребление, порабощение, депортация какого-либо гражданского населения, преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам при совершении преступления, подсудного трибуналу.

Дальше определяется круг ответственности. Руководители, организации, зачинщики и лица, участвовавшие в составлении или выполнении совместного плана или сговора для совершения одного из вышеперечисленных преступлений, ответственны за все действия, совершенные каким-либо лицом при исполнении такого плана.

Обвинение направлено поэтому не только против отдельных лиц, но и против организаций, которые, как таковые, должны считаться преступными: имперский кабинет, корпус политических руководителей национал-социалистической немецкой рабочей партии, СС, СД, гестапо, СА, генеральный штаб, верховное командование германских вооруженных сил.

Мы, немцы, на этом процессе слушатели. Не мы его добились, не мы его ведем, хотя обвиняемые — люди, ввергшие нас в беду. «У немцев,

право же, не меньше счетов с обвиняемыми, чем у остального мира», — говорит Джексон.

Иные немцы чувствуют себя обиженными этим процессом. Такое чувство понятно. Оно основано на том же, на чем, с другой стороны, основано обвинение всего немецкого населения в преступлениях гитлеровского режима. Каждый гражданин отвечает за дела и страдания своего государства и участвует в них. Преступное государство — обуза для всего народа. Поэтому в том, как поступают с руководителями государства, даже если они преступники, гражданин этого государства чувствует и отношение к себе. В них и с ними осуждается данный народ. Поэтому оскорбления и унижения, выпадающие на долю руководителей государства, воспринимаются народом как оскорбление и унижение его самого. И отсюда инстинктивное, поначалу еще неосознанное неприятие этого процесса.

На самом же деле мы должны здесь проникнуться мучительным сознанием политической ответственности. Мы должны испытать чувство унижения, поскольку этого требует политическая ответственность. Через это мы поймем свое полное политическое бессилие и то, что мы не являемся политическим фактором.

Но все зависит от того, как мы воспримем, истолкуем, освоим и во что превратим свою инстинктивную уязвленность.

Есть возможность отвергнуть обиду с порога. Тогда выискиваются основания оспорить весь этот процесс, его правомерность, его правдивость, его цель.

1. Выдвигаются общие соображения: войны проходят через всю историю, и войны еще будут. Не народ ведь виноват в войне. Природа человека,

его универсальная виновность приводит к войнам. Это поверхностность совести, которая сама себя объявляет невиновной. Это самоуверенность, которая своим нынешним поведением как раз и способствует будущим войнам.

На это надо возразить: на сей раз не подлежит сомнению, что Германия планомерно готовила войну и начала ее без всякой провокации с другой стороны. Дело обстоит совершенно иначе, чем в 1914 году. На Германию возлагают вину не за войну, а за эту войну. А эта война сама — нечто новое, нечто иное в небывалой всемирно-исторической обстановке.

Этот упрек Нюрнбергскому процессу по-другому выражается примерно так: есть что-то неразрешимое в человеческом бытии, снова и снова заставляющее решать силой то, о разрешении чего надо «молить небо». У солдата есть рыцарские чувства, и даже когда он побежден, его можно обидеть, обращаясь с ним не по-рыцарски.

На это надо возразить: Германия совершила множество действий, которые (вне всякой рыцарственности и вопреки международному праву) привели к истреблению групп населения и прочей бесчеловечности. Поведение Гитлера с самого начала было направлено против всякой возможности примирения. Возможны были только победа или гибель. Теперь налицо последствия гибели. Всякое требование рыцарственности — даже когда множество отдельных солдат и целых частей невиновны и со своей стороны всегда вели себя по-рыцарски, — всякое требование рыцарственности необоснованно, коль скоро вермахт как организация выполнял преступные приказы Гитлера. Наплевав на рыцарственность и великодушие, нельзя потом притязать на них в собственных

интересах. Эта война возникла не из-за безвыходного противоречия между существами одной породы, которые по-рыцарски пошли на бой, а была по своему происхождению и проведению преступным коварством и полной разнузданностью воли к уничтожению.

Даже на войне можно обуздать себя. Положением Канта «на войне нельзя допускать действий, делающих примирение в дальнейшем просто невозможным» — этим положением Канта гитлеровская Германия первой пренебрегла в принципе. Вследствие этого насилие, одинаковое по сути с первобытных времен, но в своих истребительных возможностях зависящее от техники, ограничений сегодня не знает. Начать войну при нынешней обстановке в мире — вот что чудовищно.

2. Говорят, этот процесс для всех немцев — национальный позор. Будь хотя бы немцы в суде, немца судили бы немцы.

На это надо возразить: национальный позор состоит не в суде, а в том, что к нему привело, в самом факте этого режима и его действий. Сознание национального позора для немца неизбежно. Оно направлено не в ту сторону, если обращено к этому процессу, а не к его истоку.

Далее: если бы победители учредили немецкий суд или ввели немцев в состав суда, от этого бы ничего не изменилось. Они оказались бы в суде не в силу самоосвобождения немцев, а по милости победителя. Процесс — это результат того факта, что не мы освободили себя от преступного режима, а союзники освободили нас от него.

3. Возражают: как можно в сфере политического суверенитета говорить о преступлениях? Если с этим согласиться, то победитель может объявить преступником побежденного, тогда кончается

смысл и тайна власти, которая — от Бога. Фигуры, которым повиновался народ, — а таковою раньше был кайзер Вильгельм II, сегодня «фюрер», — считаются священными.

На это надо возразить: речь идет о привычке мышления, созданной традицией государственности в Европе, традицией, которая дольше всего держалась в Германии. Но сегодня ореол святости вокруг глав государств исчез. Они люди и отвечают за свои поступки. После того как европейские народы судили и обезглавили своих монархов, перед народами стоит задача: держать под контролем свое руководство. Государственные акты — это в то же время персональные акты. Люди как отдельные лица стоят за ними и держат за них ответ.

4. Юридически выдвигается такой довод: преступления существуют лишь в мерках законов. Нарушение этих законов есть преступление. Преступление должно быть однозначно определено, и его состав должен быть однозначно определен. В особенности: *nulla poena sine lege*, то есть: приговор может быть вынесен только по закону, существовавшему перед совершением преступления. А в Нюрнбергском суде имеют обратную силу законы, установленные теперь победителями.

На это надо возразить: в смысле человечности, прав человека и естественного права, а также в смысле европейских идей свободы и демократии законы, по меркам которых можно определить преступления, уже существуют.

Кроме того, есть договоры, устанавливающие, если они добровольно подписаны обеими сторонами, такое преимущественное право, которое в случае нарушения договора может служить мерилom.

Но где же решающая инстанция? В мирных условиях государственности это суды. После войны это может быть только суд победителя.

5. Отсюда еще один аргумент: власть победителя не есть право. Успех — это не инстанция для права и для истины. Трибунал, который мог бы объективно расследовать и осудить военную вину и военные преступления, невозможен. Такой суд всегда пристрастен. Суд из нейтральных лиц тоже был бы пристрастен, ибо нейтральные лица бессильны и фактически повинуются победителям. Свободно судить мог бы только суд, за которым бы стояла власть, способная и насильственно навязать свое решение обеим тяжущимся сторонам.

Аргумент мнимости этого права продолжает: после каждой войны вину сваливают на побежденного. Его вынуждают признать свою вину. Следующая за войной экономическая эксплуатация маскируется под возмещение ущерба. Грабеж выдается за юридический акт. Если нет свободного права, то уж лучше откровенное насилие. Это честнее, и это легче вынести. Есть только власть победителя. Сам по себе упрек в преступлении всегда может быть взаимным — дать ход этому упреку может лишь победитель. Он делает это безоглядно, беря мерилom исключительно собственную выгоду. Все прочее — маскировка того, что на самом деле есть насилие и произвол обладающего нужной для этого властью.

Мнимость суда проявляется, наконец, в том, что действия, объявленные преступными, выносятся на суд лишь тогда, когда они совершены побежденным государством. Такие же действия со стороны суверенных или победивших государств обходятся молчанием, не разбираются и подавно не наказуются.

На это надо возразить: власть и сила — действительно решающая реальность в мире человека. Но не единственная. Абсолютизация этой реальности уничтожает всякую надежную связь между людьми. При такой абсолютизации никакой договор не возможен. Как это Гитлер и в самом деле сказал, договоры в силе лишь до тех пор, пока они отвечают собственным интересам. По такому принципу он и действовал. Но этому противостоит воля, которая, несмотря на признание реальности власти и действенности этого нигилистического взгляда, считает их чем-то таким, чего быть не должно и что поэтому нужно всеми силами изменить.

Ведь в человеческих делах реальность еще не есть истина. Напротив, этой реальности нужно противопоставить другую реальность. А наличие таковой зависит от воли человека. Каждый должен при всей своей свободе знать, на чем он стоит и чего он хочет.

С этой позиции надо сказать: процесс как новая попытка упорядочить мир не теряет своего смысла, если он еще не в состоянии опереться на какой-то законный мировой порядок, а поневоле увязает сегодня в политике. Он еще не происходит как судебный процесс внутри замкнутого государственного строя.

Поэтому Джексон откровенно сказал, что «если бы защите разрешили отклониться от обвинения, строго ограниченного обвинительным заключением, процесс затянулся бы и суд запутался бы в неразрешимых политических спорах».

Это значит также, что защита должна заниматься не вопросом виновности в войне, захватывающим всякие исторические предпосылки, а только одним вопросом: кто начал эту войну.

Кроме того, защита не вправе ссылаться на другие случаи подобных преступлений или обсуждать их: политическая необходимость устанавливает границу дискуссии. Но из этого не следует, что все становится тем самым неправдой. Напротив, трудности, возражения высказаны откровенно, хотя и коротко.

Нельзя отрицать того основополагающего факта, что главной отправной точкой является успех в борьбе, а не один лишь закон. В большом, как и в малом, справедливо то, что иронически говорилось по поводу, например, воинских проступков: тебя наказывают не из-за закона, а потому, что попался. Но из этой основополагающей ситуации не следует, что после успеха человек не способен, в силу своей свободы, претворить свою власть в осуществление права. И даже если это происходит не полностью, даже если право возникает лишь в каком-то объеме, то и тогда на пути к упорядочению мира достигается уже многое. Сдерживание как таковое создает пространство раздумья и проверки, пространство ясности, а тем самым и тем решительнее сознание непреходящего значения силы как таковой.

Для нас, немцев, этот процесс имеет то преимущество, что он устанавливает различие между определенными преступлениями руководителей и именно коллективно не осуждает народ.

Но процесс этот значит гораздо больше. Он должен впервые и навсегда объявить войну преступлением и сделать из этого выводы. То, что началось с пактом Келлога, должно впервые осуществиться. Величие этой попытки не подлежит сомнению, как и добрая воля многих ее участников. Попытка эта может показаться фантастической. Но если нам станет ясно, о чем идет речь, мы

будем с трепетом ждать того, что произойдет. Разница лишь в том, предполагаем ли мы с нигилистическим торжеством заранее, что это будет мнимый процесс, или горячо желаем, чтобы он удался.

Все зависит от того, как он будет проходить, каковы будут его содержание, его итог, его мотивировки, насколько цельным останется этот процесс в памяти. Все зависит от того, признает ли мир то, что здесь сделано, правдой и правом, придется ли согласиться с этим и побежденным, увидит ли здесь позднее история справедливость и истину.

Но решается это не только в Нюрнберге. Существенно вот что: станет ли Нюрнбергский процесс звеном в череде осмысленно конструктивных политических действий, даже если таковые еще часто будут перечеркиваться заблуждениями, непониманием, бессердечностью и ненавистью, — или же мерило, которое поставят здесь над человечеством, в конце концов отвергнет и державы, которые сейчас возводят его. Державы, учреждающие Нюрнберг, свидетельствуют тем самым, что, подчиняясь мировому порядку, они в содружестве хотят мирового правительства. Они свидетельствуют, что действительно хотят взять на себя ответственность за человечество как результат их победы, а не только за свои собственные государства. Такое свидетельство не смеет быть лжесвидетельством.

На все возражения против данного процесса надо поэтому ответить: в Нюрнберге речь идет о чем-то действительно новом. Нельзя отрицать, что все, о чем в этих возражениях говорится, представляет собой возможную опасность. Но неверны, во-первых, те альтернативы, которые из-за каких-то недостатков, ошибок, шероховатостей в

частностях отвергают все вообще, ведь главное — это направление действий, непоколебимое терпение действенной ответственности держав. Противоречия в частностях должны быть преодолены действиями, направленными среди смуты к мировому порядку. Неверно, во-вторых, настроение возмущенной агрессивности, которая заранее говорит «нет».

То, что происходит в Нюрнберге, сколько бы это ни вызывало возражений, есть слабое, двусмысленное предвестие мирового порядка, необходимость которого начинает сегодня ощущать человечество. Это совершенно новая ситуация: мировой порядок, конечно, отнюдь не у дверей — до его осуществления будут еще большие конфликты и неисчислимы опасности войн, — но он уже показался возможным мыслящему человечеству, уже чуть забрезжил зарей на горизонте, тогда как в случае, если он не удастся, человечество окажется перед страшной угрозой самоуничтожения.

У совсем уж бессильного единственная поддержка — целостность мира. Перед лицом небытия он хватается за корни и за что-то всеобъемлющее. Поэтому именно немцам мог бы открыться необыкновенный смысл этого предвестия.

Наше собственное благополучие в мире обусловлено мировым порядком, который в Нюрнберге еще не устанавливается, но на который Нюрнберг указывает.

2. Политическая виновность

За преступление преступника постигает наказание. Если Нюрнбергский процесс ограничивается преступниками, то это снимает бремя с немецкого народа. Но не настолько, чтобы он оказался свободен от всякой вины. Напротив. Тем

яснее становится истинная наша вина в своей сути.

Мы были германскими гражданами, когда совершал преступления режим, называвший себя немецким, притязавший быть Германией и с виду имевший на это право, ибо он обладал государственной властью и до 1943 года не встречал опасного для себя противодействия.

Уничтожение всякой порядочной, подлинной немецкой государственности имеет причиной, должно быть, и поведение большинства немецкого населения. Народ отвечает за свою государственность.

Перед лицом преступлений, совершенных от имени Германской империи, ответственность возлагается и на каждого немца. Мы «отвечаем» коллективно. Спрашивается, в каком смысле каждый из нас должен чувствовать ответственным и себя. Несомненно — в политическом смысле ответственности каждого гражданина за действия, совершаемые государством, гражданином которого он является. Необязательно, однако, поэтому и в моральном смысле фактического или интеллектуального участия в преступлениях. Должны ли мы, немцы, нести ответственность за злодеяния, учиненные над нами немцами, или за злодеяния, от которых мы как бы чудом спаслись? Да — поскольку мы допустили, чтобы такой режим у нас возник. Нет — поскольку многие из нас в душе были противниками всего этого зла и никаким поступком, никаким внутренним мотивом не обрекали себя на признание своей нравственной виновности. *Считать ответственным — не значит признать морально виновным.*

Коллективная виновность, таким образом, хоть и существует как политическая ответственность граждан, но это не значит, что она тождественна по смыслу моральной и метафизической, а

также уголовной виновности. Взять на себя политическую ответственность, спору нет, тяжело ввиду ее ужасных последствий и для каждого в отдельности. Она означает для нас полное политическое бессилие и нищету, которая надолго вынудит нас жить в голоде и холоде или на грани их и в напрасных усилиях. Но эта ответственность как таковая не задевает душу.

Политический поступок совершает в современном государстве каждый, по меньшей мере своим голосованием на выборах или своей неявкой на выборы. Смысл политической ответственности не позволяет уклониться от нее никому.

Потерпев неудачу, политически активные люди обычно потом оправдываются. Но в политических делах такие оправдания ничего не стоят.

Мол, намерения у них были самые лучшие, мол, они желали добра. Гинденбург, например, не хотел ведь губить Германию, не хотел отдавать ее Гитлеру. Это ему не поможет, он это сделал, а это-то и важно в политике.

Или они, мол, видели грозящую беду, говорили об этом, предостерегали. Но это в политике не считается, коль скоро из этого не последовали действия и коль скоро эти действия не увенчались успехом.

Можно подумать: но ведь есть же люди полностью аполитичные, жившие вне общества, монахи, например, отшельники, ученые, исследователи, художники. Если они действительно аполитичны, то на них-то вина не лежит.

Но политическая ответственность лежит и на них, потому что и они обязаны своей жизнью данному государственному укладу. В современных государствах быть вне общества нельзя.

Хочется, конечно, допустить возможность отстраниться, но допустить ее можно только с этим ограничением. Нам хочется признавать и любить

аполитичное существование. Но, перестав участвовать в политике, аполитичные теряют и право судить о конкретных политических действиях текущего дня, то есть право самим заниматься безопасной политикой. Аполитичность требует от человека самоотстранения от политической деятельности любого рода, а политическую ответственность снимает с него не в любом смысле.

3. Моральная виновность

Каждый немец проверяет себя: в чем моя вина?

Вопрос о виновности применительно к отдельному человеку, поскольку он сам себя просвечивает насквозь, мы назовем моральным. Тут между нами, немцами, существуют самые большие различия.

Конечно, приговор выносит только каждый себе самому; общаясь, мы можем говорить друг с другом и морально помочь друг другу добиться ясности. Моральное осуждение другого остается, однако, *in suspensa*¹ — в отличие от уголовного и от политического.

Граница, у которой кончается и возможность морального суждения, лежит там, где мы чувствуем, что другой ни о каком моральном самопросвечивании и не помышляет, — где в аргументации нам слышится только софистика, где собеседник вовсе, кажется, и не слушает нас. Гитлер и его сообщники, это маленькое меньшинство в несколько десятков тысяч, пребывают вне моральной виновности до тех пор, пока они вообще не чувствуют за собой вины. Они, кажется, не способны раскаяться и измениться. Они такие, какие они есть. В отношении таких людей остается толь-

¹ В неопределенности (лат.).

ко насилие, потому что они сами живут только насилием.

Моральная виновность, однако, существует у всех, у кого есть совесть и кому не чуждо раскаяние. Морально виновны способные к покаянию, те, что знали или могли знать, а все-таки шли путями, которые при самопросвечивании предстают им преступно-ошибочными, — одни из них закрывали глаза на происходившее, другие поддавались одурманиванию и соблазну, третьи продавались за личные блага, четвертые повиновались из страха. Представим себе некоторые из этих возможностей:

а) Жизнь в маске — неизбежная для того, кто хотел выжить, — влекла за собой моральную виновность. Лживые заявления о лояльности перед грозными инстанциями вроде гестапо, такие жесты, как приветствие «хайль Гитлер», участие в собраниях и многое другое, что влекло за собой видимость участия, — за кем из нас в Германии никогда не было такой вины? Заблуждаться на этот счет может только забывчивый, потому что заблуждаться он хочет. Маскировка была одной из основных черт нашего существования. Она отягощает нашу нравственную совесть.

б) Больше волнует человека в момент ее понимания вина, вызванная *лживой совестью*. Многие молодые люди просыпаются с ужасным сознанием: моя совесть меня обманула — на что еще я могу положиться? Я думал, что жертвую собой ради благороднейшей цели, что желаю самого лучшего. Каждый, кто так ужаснется, проверит себя, виновен ли он был в неясности и в нежелании видеть, в сознательном замыкании, изоляции собственной жизни в «благопристойной» сфере.

Здесь надо прежде всего видеть разницу между *солдатской честью* и политическим смыслом. Ибо сознание солдатской чести остается защищенным от любых рассуждений о виновности. Кто был

верен в товариществе, стоек в опасности, проявил мужество и деловитость, тот вправе сохранять что-то неприкосновенное в своем чувстве собственного достоинства. Это чисто солдатское и в то же время человеческое начало одинаково у всех народов. Его проявление не только не вина, но, коль скоро оно не запятнано злодеяниями или выполнением явно злодейских приказов, некая основа, некий смысл жизни.

Но проявление солдатского начала нельзя отождествлять с делом, за которое сражались. Солдатское начало не освобождает от вины за все другое.

Безоговорочное отождествление фактического государства с немецкой нацией и армией — это вина лживой совести. Тот, кто был безупречен как солдат, мог стать жертвой фальсифицированной совести. Благодаря этому оказалось возможным творить и терпеть из-за национальных убеждений явное зло. Отсюда чистая совесть при злых делах.

Однако долг перед отечеством гораздо глубже, чем слепое повиновение тем или иным правителям. Отечество уже не отечество, если разрушается его душа. Мощь государства сама по себе — не цель, напротив, она губительна, если это государство уничтожает немецкую сущность. Поэтому долг перед отечеством отнюдь не вел последовательно к повиновению Гитлеру и к убежденности, что и как гитлеровское государство Германия непременно должна победить в войне. Вот в чем заключается лживая совесть. Это непростая вина. Это в то же время и трагическое смятение, особенно большой части несведущей молодежи. Долг перед отечеством — это полная самоотдача ради высочайших требований, предъявляемых нам нашими лучшими предками, а не идолами лживой традиции.

Поразительно поэтому, как, несмотря на все зло, удавалось самоотождествление с армией и го-

сударством. Ведь эта обязательность слепого национального взгляда — понятная лишь как последняя гнилая опора теряющего веру мира — была, по совести, одновременно моральной виной.

Эта вина стала возможной и благодаря неверно понятому библейскому изречению «будь покорен имеющим власть над тобой»¹, но окончательно выродилась в удивительную покорность приказу на военный манер. «Это приказ» — для многих эти слова звучали и еще звучат патетически, выражая высший долг. Но они одновременно и освобождали от вины, равнодушно утверждая неизбежность зла и глупости. Безусловной моральной виной становилось такое поведение в раже послушания, поведении инстинктивном, считающем себя добро-совестным, а на самом деле ничего общего с совестью не имеющем.

Из отвращения к нацистской власти многие после 1933 года избирали офицерскую карьеру, потому что казалось, что только здесь царит пристойная атмосфера, не подверженная влиянию партии, враждебная партии, как бы отрицающая власть партии. И это тоже было заблуждением совести, последствием которого — после устранения всех самостоятельных генералов старой школы — оказалось в конце концов нравственное разложение немецкого офицера на всех руководящих постах, несмотря на множество славных, даже благородных служаков, которые тщетно искали здесь спасения, как того требовала от них обманчивая совесть.

Именно тогда, когда с самого начала человек действует по честному разумению и доброй воле, его разочарование, в том числе и в себе, особенно

¹ Римл. 13,1.

велико. Оно приводит к проверке и самой искренней веры вопросом: насколько ответствен я за свою иллюзию, за всякую иллюзию, которую я питаю.

Пробуждение, распознавание этой иллюзии необходимо. Оно сделает из идеалистов-юнцов стойких, нравственно надежных, политически трезвых немецких мужчин, которые смиренно примут свою судьбу.

в) Частичное одобрение национал-социализма, *половинчатость*, а порой *внутреннее приспособление* и примирение, было моральной виной, лишенной какого бы то ни было трагизма, свойственного предыдущим разновидностям вины.

Такая аргументация: «Ведь есть в этом и хорошее», такая готовность к мнимо справедливому признанию была у нас распространена. Правдивым могло быть только радикальное «либо—либо». Если я признаю порочный принцип, то все скверно, и даже хорошие с виду последствия — вовсе не то, чем они кажутся. Из-за того, что эта ошибочная объективность была готова признать в национал-социализме мнимо хорошее, даже близкие прежде друзья становились друг другу чужими, с ними уже нельзя было говорить откровенно. Тот, кто еще недавно сетовал, что нет мученика, который пожертвовал бы собой, выступив за прежнюю свободу и против несправедливости, — тот же человек мог восхвалять как высокую заслугу уничтожение безработицы (путем вооружения и жульнической финансовой политики), мог в 1938 году приветствовать захват Австрии как осуществление старого идеала единой империи, а в 1940-м подвергать сомнению нейтралитет Голландии и оправдывать гитлеровскую агрессию, и главное — радоваться победам.

г) Многие предавались удобному *самообману*: они, мол, потом изменят это порочное государст-

во, партия исчезнет, самое позднее — со смертью фюрера. Сейчас надо во всем участвовать, чтобы изнутри поворачивать все к добру. Вот типичные разговоры.

С офицерами: «Мы устраним национал-социализм после войны именно на основе нашей победы: пока надо держаться вместе, привести Германию к победе; когда горит дом, сперва тушат огонь, а потом спрашивают, кто устроил пожар». Ответ: после победы вас распустят, вы с радостью пойдете по домам, оружие останется только у СС, и террористический режим национал-социализма перерастет в рабовладельческое государство. Никакая индивидуальная человеческая жизнь не будет возможна. Будут сооружаться пирамиды, строиться и перестраиваться дороги и города по прихоти фюрера. Будет развиваться огромный механизм вооружения для окончательного завоевания мира.

С преподавателями высшей школы: «Мы партия фронды. Мы отваживаемся на непринужденные дискуссии. Мы достигаем духовных целей. Мы все постепенно преобразуем в прежнюю немецкую духовность». Ответ: вы заблуждаетесь. Вам предоставляют свободу шута при условии неукоснительного послушания. Вы молчите и уступаете. Ваша борьба — видимость, для руководства желательная. Вы только помогаете похоронить немецкий дух.

У многих интеллигентов, которые участвовали в событиях 1933 года, стремились достичь руководящего положения и по своим взглядам публично взяли сторону новой власти, интеллигентов, которые позднее, будучи лично оттеснены, возмущались, но чаще продолжали одобрять режим, пока неблагоприятный исход войны не стал в 1942 году очевиден и не сделал их наконец противниками режима, — у многих из этих интеллигентов есть

такое чувство, что они пострадали от нацистов и потому призваны прийти им на смену. Сами они считают себя антинацистами: они, мол, в духовных вопросах были правдивы и беспристрастны, хранили традиции немецкого духа, предотвращали всяческое разрушение, делали какие-то добрые дела.

Возможно, среди них окажутся люди, виновные из-за косности своего мышления, которое хоть и не совпадает с партийными доктринами, но в действительности, не отдавая себе в том отчета, сохраняет при видимости перемены и враждебности внутреннюю позицию национал-социализма. Из-за этого мышления, может быть, им изначально сродни то, что было бесчеловечной, диктаторской, мертвяще-нигилистической сущностью национал-социализма. Кто в 1933 году, будучи зрелым человеком, обладал внутренней убежденностью, коренившейся не только в политическом заблуждении, но и в усиленном благодаря национал-социализму чувстве бытия, тот не очистился иначе, как через переплавку, которая должна зайти, может быть, глубже всякой другой. Кто вел себя так в 1933 году, остался бы без нее внутренне хрупким и способным к фанатизму в дальнейшем. Кто участвовал в расовом безумии, кто питал иллюзии относительно строительства, которое основывалось на обмане, кто мирился с уже тогда совершенными преступлениями, тот не только ответствен, но и обязан нравственно обновиться. Может ли он обновиться и каким образом, это только его дело, об этом извне трудно судить.

д) Есть разница между *активными* и *пассивными*.

Политические деятели и исполнители, руководители и пропагандисты виновны. Если они и не совершили уголовных преступлений, то все же из-за своей активности они несут поддающуюся положительному определению вину.

Однако каждый из нас несет вину, поскольку он оставался бездейтелен. Вина пассивности другая. Бессилие извиняет; морального требования полезной смерти не существует. Еще Платон считал естественным в бедственные времена при отчаянном положении прятаться, чтобы выжить. Но пассивность знает свою, моральную вину за каждую упущенную по небрежности возможность защитить гонимого, облегчить зло, оказать противодействие. В покорности бессилия всегда оставалась возможность пусть не безопасных, но при осторожности все-таки эффективных действий.

Боязливо упустив такую возможность, каждый в отдельности признает своей моральной виной слепоту к беде другого, душевную черствость, внутреннюю незадетость случившейся бедой.

е) Моральная виновность во внешнем примыкании, *роль попутчика* объединяют в какой-то мере очень многих из нас. Чтобы устроить свою жизнь, не потерять своего положения, не загубить свои шансы, человек становился членом партии и соблюдал все другие формальности.

Никто не получит за это полного оправдания, тем более что было много немцев, которые действительно не совершили такого акта приспособления и взяли на себя все невыгодные последствия этого.

Надо представить себе, какова была обстановка году в 1936-м или 1938-м. Партия была государством. Такое положение, казалось, закрепилось надолго. Только война могла свалить этот режим. Все державы заключали договоры с Гитлером. Все хотели мира. Немец, который не желал оказаться совсем в стороне, потерять свою профессию, повредить своему делу, должен был подчиниться, тем более человек молодой. Принадлежность к партии или к профессиональному союзу была уже не политическим актом, а скорее актом милости

государства, допускающего данное лицо. «Значок» нужен был как внешний знак, без внутреннего согласия. Тому, от кого тогда требовали куда-то вступить, трудно было отказаться. Для смысла примыкания имеет решающее значение, при каких обстоятельствах и по каким мотивам человек стал членом партии. У каждого года и каждой ситуации есть свои оправдания и свои отягчающие обстоятельства, различить которые можно только в каждом индивидуальном случае.

4. Метафизическая виновность

Мораль тоже всегда определяется мирскими целями. Морально я могу быть обязан рисковать своей жизнью, если надо что-то осуществить. Но морально несостоятельно требование, чтобы кто-то жертвовал жизнью, зная наверняка, что этим ничего не достигнешь. Морально требование риска, но не требование, чтобы кто-то выбрал верную смерть. Скорее морально в обоих случаях требование противоположного: не делать бессмысленных вещей для мирских целей, а сохранить себя для их осуществления.

Но есть в нас сознание своей виновности, у которого источник другой. Метафизическая виновность — это отсутствие абсолютной солидарности с человеком как с человеком. Она не снимает своей претензии и тогда, когда морально осмысленное требование уже исключается. Эта солидарность нарушена, если я присутствовал при несправедливостях и преступлениях. Недостаточно того, что я с осторожностью рисковал жизнью, чтобы предотвратить их. Если они совершились, а я при этом был и остался жив, тогда как другого убили, то есть во мне какой-то голос, благодаря которому я знаю: тот факт, что я еще жив, — моя вина.

Когда в ноябре 1938 года горели синагоги и впервые депортировали евреев, вина за эти преступления была, конечно, прежде всего моральная и политическая.

Двоякая вина лежала на тех, у кого еще была власть. Генералы при этом присутствовали. В каждом городе, когда совершались преступления, мог вмешаться комендант. Ведь долг солдата защищать всех, когда преступления совершаются в таком объеме, что полиция не может предотвратить их или не справляется со своей задачей. Они бездействовали. Они предали в этот момент славные прежде моральные традиции немецкой армии. Их это не касалось. Они отреклись от души немецкого народа ради абсолютно автономного военного механизма, подчиняющегося приказам.

Среди нашего населения многие, правда, были возмущены, многие охвачены ужасом, предчувствуя беду. Но еще большее число людей продолжало без помех заниматься своими делами, общаться и развлекаться как ни в чем не бывало. Это моральная вина.

А те, кто в отчаянии полного бессилия не мог этому помешать, — те от сознания метафизической вины сделали в своем внутреннем развитии еще один шаг.

5. Выводы

а) *Последствия виновности*

В том, что мы, немцы, что каждый немец в каком-то смысле виновен, — в этом, если наши рассуждения были не совсем неосновательны, не может быть сомнения:

1. Каждый немец без исключения несет политическую ответственность. Он должен участвовать в возмещении ущерба в юридически установленной форме. Он должен страдать от результатов действий победителей, от их волевых решений, от их разногласий. Мы не в состоянии оказывать здесь какое-либо влияние как фактор силы.

Только разумно излагая факты, указывая на возможности и опасности, можно участвовать в подготовке решений. В подобающей форме можно обращаться к победителям с доводами.

2. Не каждому немцу, даже очень малому меньшинству немцев, приходится нести наказание за преступления, другому меньшинству приходится расплачиваться за национал-социалистическую деятельность. Защищаться разрешается. Судят суды победителей и учрежденные ими немецкие инстанции.

3. У каждого немца, наверно, — хотя и у каждого по-своему — найдется повод проверить себя с моральной стороны. При этом, однако, ему не нужно признавать никакой инстанции, кроме собственной совести.

4. Каждый немец, способный понимать, изменит, наверно, благодаря метафизическому опыту такой беды свое жизневосприятие и свое самосознание. Как это произойдет — никто не может ни предписать, ни предвосхитить. Это дело каждого в отдельности. То, что из этого возникнет, станет в будущем основой немецкой души.

Эти разграничения можно использовать софистически, чтобы освободиться от всего вопроса виновности, например, так:

Политическая виновность — хорошо, но она ограничивает только мои материальные средства, а внутри-то она меня вовсе не затрагивает.

Уголовная виновность — она ведь касается очень немногих, не меня, ко мне это не имеет отношения.

Моральная виновность — мне говорят, что критерий — собственная совесть, другие не смеют упрекать меня. А уж моя совесть обойдется со мной по-дружески. Все не так скверно — подведем черту и начнем новую жизнь.

Метафизическую виновность — ее и вовсе, как было сказано, никто не должен приписывать другому. Ее, мол, я должен увидеть, изменяясь. Это бредовая мысль какого-то философа. Такого не бывает. А если бывает, то я ничего подобного не замечал. Об этом мне можно не беспокоиться.

Наше расщепление понятий виновности может стать уловкой, помогающей снять с себя вину. Разграничения находятся на переднем плане. Они могут заслонить первопричину и целое.

б) *Коллективная виновность*

Разграничив моменты виновности, мы в конце концов возвращаемся к вопросу о коллективной виновности.

Разграничение, при всей своей правильности и разумности, несет в себе описанный выше соблазн — вообразить, будто такими разграничениями ты снял с себя вину, облегчил свое бремя. При этом опускается нечто такое, что в коллективной виновности, несмотря ни на что, явно присутствует. Грубость мышления в категориях коллектива и осуждения коллективов не препятствует чувству нашей общности.

В конечном счете, спору нет, истинный коллектив — это общность всех людей перед Богом. Каждый волен в чем-то освободиться от привя-

занности к государству, народу, группе, чтобы прорваться к невидимой солидарности людей как людей доброй воли и как людей, связанных общей виной человеческого бытия.

Но исторически мы привязаны к более близким и более узким сообществам, и без них мы бы канули в бездну.

Политическая ответственность и коллективная виновность

Факты таковы: суждения и чувства людей во всем мире определяются в большой мере коллективистскими представлениями. На немца, кем бы немец ни был, смотрят сегодня в мире как на кого-то, с кем лучше не иметь дела. Немецкие евреи за границей нежелательны как немцы и считаются, по существу, немцами, не евреями. Вследствие такого коллективистского мышления политическая ответственность становится в то же время и наказанием на основании нравственной виновности. Такое коллективистское мышление часто возникало в истории. Варварство войны обрекало все население в целом на грабежи, насилия, продажу в рабство. Вдобавок на долю несчастных выпадало еще и моральное уничтожение во мнении победителей. Человек должен не только покориться, но и признать это и покаяться. Всякий, мол, немец, христианин, иудей ли, во власти дьявола.

Факт этого распространенного в мире, хотя и не всеобщего мнения снова и снова подбивает нас не только воспользоваться для защиты нашим простым отделением политической ответственности от моральной виновности, но и проверить, много ли правды содержит в себе коллективистское мышление. Мы не отказываемся от такого

отделения, но мы должны ограничить его, отметив, что поведение, приведшее к ответственности, основано на общей политической обстановке, которая носит характер как бы моральный, потому что тоже определяет мораль индивидуума. От этой обстановки индивидуум не может отделить себя полностью, потому что он, осознанно или неосознанно, живет как ее элемент, который никак не может уйти от влияния среды, даже находясь в оппозиции. Есть что-то вроде моральной коллективной виновности в том образе жизни населения, который я, как отдельное лицо, разделяю и из которого возникают политические реальности.

Ведь политическая обстановка и весь образ жизни людей неразделимы. Нельзя абсолютно отделить политику от принадлежности к роду человеческому, человек не отшельник, гибнущий в одиночку.

Политическая обстановка сформировала швейцарца, голландца и веками воспитывала в нас, немцах, послушание, династические убеждения, равнодушие и безответственность в отношении политической реальности — и что-то от этого в нас есть, даже если мы против такого поведения.

Что все население, по сути, расплачивается за последствия действий государства — *quidquid delirant reges, plectuntur Achivi*¹ — это просто проверенный опытом факт. Что оно, население, знает о своей ответственности — это первый признак пробуждающейся в нем политической свободы. Только если есть и признается такое знание, свобода действительно приходит, а не остается только внешним притязанием несвободных людей.

¹ Что б ни творили цари-сумасброды, страдают ахейцы (лат.). Гораций. Послания, 1, 2, 14. — Прим. переводчика.

Внутренняя политическая несвобода послушна, а с другой стороны, она не чувствует себя виноватой. Сознание своей ответственности — это начало внутреннего переворота, стремящегося осуществить политическую свободу.

Противоположность свободного и несвободного образа мыслей видна, например, во взгляде на руководителя государства. Кто-то спросил: несут ли народы вину за руководителей, которых они терпят? Например, Франция за Наполеона. Подразумевается, что подавляющее большинство шло за Наполеоном, желало могущества и славы, которые он стяжал. Наполеон был возможен только потому, что французы желали его. Его величие — точность, с какой он понял, чего ждали народные массы, что желали слышать, каких желали иллюзий, каких материальных реальностей. По праву ли сказал Ленц: «Государство вступило в ту жизнь, которая соответствовала гению Франции»? Да, какой-то части, какой-то ситуации соответствовала — но не гению же народа! Кто может определить гений народа подобным образом? Этот же самый гений породил и другие реальности.

Возможен такой ход мыслей: как мужчина отвечает за выбор возлюбленной, с которой он свяжет браком свою судьбу, так отвечает народ за того, кому он повинуется. Ошибка — это вина. За ее последствия надо жестоко расплачиваться. Но это-то как раз и неверно. Что возможно и что подобает в браке, то в государстве уже в основе своей пагубно — непременная связанность с каким-либо человеком. Верность свиты — это неполитические отношения в узких кругах и в примитивных условиях. В свободном государстве все подлежит контролю и замене.

Отсюда двойная вина: во-первых, вообще безоговорочная политическая покорность какому-либо руководителю, а во-вторых, сущность руководителя, которому ты подчинился. Атмосфера подчинения — это как бы коллективная вина.

Собственное сознание коллективной виновности

Мы чувствуем и какую-то свою вину за действия членов нашей семьи. Эту совиновность нельзя объективировать. Любую разновидность ответственности всех членов семьи за действия, совершенные одним из ее членов, мы бы отвергли. Но мы, будучи одной крови, все-таки склонны чувствовать себя задетыми, если кто-то из нашей семьи поступает несправедливо, а потому склонны даже, в зависимости от характера поступка и жертвы несправедливости, как-то загладить эту вину, даже если ни моральной, ни юридической ответственности мы за нее не несем.

Так немец — то есть человек немецкоязычный — чувствует себя причастным ко всему, что порождено немецкостью. Не ответственность гражданина государства, а причастность человека, принадлежащего немецкой духовной жизни и психике, каковым я являюсь вместе с другими людьми этого же языка, этого же происхождения, этой же судьбы, становится тут причиной не какой-то конкретной виновности, а какого-то аналога совиновности.

Мы чувствуем себя причастными не только к тому, что делается сейчас, не только совиновными в действиях современников, но и причастными к традиции. Мы должны взять на себя вину отцов. Мы все виноваты в том, что в духовных условиях немецкой жизни дана была возможность такого

режима. Это, конечно, вовсе не значит, что нам надо признать, будто «немецкий мир идей», «немецкая мысль прошлого» и есть источник злодейств национал-социализма. Но это значит, что у нас как народа есть в традиции что-то могущественное и грозное, таящее в себе нашу нравственную гибель. Мы сознаем себя не только отдельными людьми, но и немцами. Каждый отдельный человек есть, в сущности, немецкий народ. У кого из нас не было в жизни мгновений, когда он, в несогласии со своим народом, отчаявшись в нем, говорил себе: «Я — Германия» — или в ликующем согласии с ним: «И я тоже Германия!» У немецкого нет никакого иного облика, чем эти отдельные люди. Поэтому требование переплавиться, возродиться, отбросить все пагубное — это задача для народа в виде задачи для каждого в отдельности.

Поскольку в глубине души я не могу удержаться от чувства коллектива, для меня, для каждого немецкости — это не наличное уже состояние, а задача. Это нечто совсем иное, чем абсолютизация народа. Я прежде всего человек, в частности я фрисландец, я профессор, я немец, я близко, до слияния душ, связан с другими коллективами, ближе или отдаленнее со всеми группами, которые мне встречались; благодаря этой близости я могу в какие-то мгновения чувствовать себя почти евреем, или голландцем, или англичанином. Но внутри этого данность немецкости, то есть, в сущности, жизнь в родном языке, настолько сильна, что каким-то рационально непостижимым, рационально даже опровержимым образом я чувствую и себя ответственным за то, что делают или делали немцы.

Я чувствую себя более близким к тем немцам, которые тоже так чувствуют, и более далеким от

тех, чья душа, кажется, отрицает такую связь. И близость эта означает прежде всего общую, окрыляющую задачу — не быть такими немцами, какие уж мы есть, а стать такими немцами, какими мы еще не сделали, но должны быть, такими, какими призывают нас быть наши великие предки, а не история национальных идолов.

Чувствуя свою коллективную виновность, мы чувствуем во всей ее полноте задачу возрождения изначальной принадлежности к роду человеческому — задачу, которая стоит перед всеми людьми на земле, но насущнее, ощутимее, определяя как бы все бытие, встает там, где какой-то народ по его собственной вине ждет полное разорение.

Кажется, что теперь я совсем перестал рассуждать как философ. Действительно, слов больше нет, и лишь в негативной форме можно отметить, что ни на каких наших разграничениях, хотя мы считаем их верными и отнюдь не берем назад, нельзя успокаиваться. Нам нельзя исчерпывать ими дело и освобождать себя от бремени, под которым пройдет наш дальнейший жизненный путь, от бремени, благодаря которому созреет самое драгоценное — вечная сущность нашей души.

II. ВОЗМОЖНОСТИ ОПРАВДАНИЯ

У нас самих и у тех, кто желает нам добра, уже наготове мысли об облегчении нашей вины. Есть точки зрения, которые, намекая на более мягкий приговор, одновременно точнее формулируют и характеризуют вину, имеющуюся в виду в том или ином случае.

1. Террор

Германия при нацистском режиме была тюрьмой, угодить в эту тюрьму — политическая вина. Но как только двери этой тюрьмы захлопнулись, изломать их изнутри нельзя. Рассматривая ответственность и виновность узников, еще оставшуюся и возникающую теперь, надо всегда задаваться вопросом: что было вообще возможно сделать тогда? В тюрьме возлагать ответственность за бесчинства тюремщиков на всех узников скопом явно несправедливо.

Говорили, что миллионы, миллионы рабочих и миллионы солдат, должны были оказать сопротивление. Они этого не сделали, они работали на войну и сражались, значит, они виновны. На это можно возразить: пятнадцать миллионов иностранных рабочих так же точно работали на войну, как немецкие рабочие. Что с их стороны совершалось больше актов саботажа, не доказано. Лишь в последние недели, когда уже все разваливалось, иностранные рабочие развили, по-видимому, большую активность.

Невозможно совершать крупные акции, не организовавшись под чьим-то руководством. Требовать, чтобы население государства бунтовало и против террористического государства, — значит требовать невозможного. Такой бунт может быть только распыленным, лишенным настоящей собранности, он остается сплошь анонимным, это тихое погружение в смерть. Есть лишь несколько исключений, ставших известными благодаря особым обстоятельствам (таких, как героизм брата и сестры Шолль, этих немецких студентов, и профессора Губера в Мюнхене).

Удивительно, как можно тут кого-то обвинять. Франц Верфель, который вскоре после разгрома гитлеровской Германии написал статью, безжалостно обвиняющую весь немецкий народ, утверждал, что сопротивление оказал один Нимёллер, — и в той же статье он говорит о сотнях тысяч людей, которых убили в концлагерях, — почему? Да потому, что они, хотя чаще только словами, оказывали сопротивление. Это анонимные мученики, своим бесследным исчезновением как раз и показавшие, что возможностей не было. Ведь до 1939 года концлагеря были чисто внутринемецким делом, да и после их заполняли в большой мере немцами. Число политических арестов в 1944 году ежемесячно переваливало за 4000. Тот факт, что концлагеря существовали до самого конца, доказывает, что в стране была оппозиция.

В этих обвинениях нам порой слышится фарисейский тон тех, что с опасностью для себя бежали, но в результате — если сравнить с муками и смертью в концлагере или со страхом в Германии — жили все-таки за границей без гнета террора, хотя и с эмигрантскими бедами, а теперь эмиграцию как таковую ставят себе в заслугу. Такому тону мы считаем себя вправе спокойно, без гнева дать отпор.

Есть и в самом деле голоса справедливых людей, которые хорошо понимают именно аппарат террора и его следствия. Вот Дуайт Макдональд в журнале «Политикс» за март 1945 года: апогей террора и вынужденной вины при терроре достигается альтернативой — убить или быть убитым. Некоторые чины, которым поручались расстрелы и убийства, говорит он, отказывались участвовать в этих жестокостях и были расстреляны.

Вот Ханна Арендт: террор породил тот удивительный феномен, что в преступлениях вождей стал участвовать немецкий народ. Подчиненные превратились в соучастников. Правда, в ограниченном объеме, но все же настолько, что люди, от которых этого никак нельзя было ожидать, отцы семейств, трудолюбивые граждане, добросовестно выполнявшие любую работу, так же добросовестно, по приказу, убивали и совершали в концлагерях прочие зверства¹.

2. Вина и историческая связь

Мы различаем причину и вину. Объяснение, почему что-то произошло так и даже непременно должно было так произойти, непроизвольно считается оправданием. Причина слепа и неизбежна, вина обладает зрением и свободна.

Так же мы поступаем обычно и с политическим событием. Историческая причинная связь как бы освобождает народ от ответственности. Отсюда удовлетворение, когда в беде кажется понятной ее неотвратимость по веским причинам.

¹ Ханна Арендт с трезвой объективностью воли потрясающе показала это в своей статье «Организованная виновность» («Вандпункт», первый год издания, № 4, апрель 1946 г., — впервые по-английски в «Джуиш Фронтьер», январь 1945 г.). *Прим. автора.*

Многие люди склонны брать на себя ответственность и подчеркивать это, когда речь идет об их теперешних поступках, произвол которых им хочется освободить от всяких ограничений и требований. Но, с другой стороны, склонны при неудаче снимать с себя ответственность и сваливать ее на какие-то мнимые необходимости. Об ответственности только говорили, а что такое ответственность, не ведали.

Соответственно все эти годы можно было слышать: если Германия выиграет войну, то выиграет ее партия, это заслуга партии, а если Германия войну проиграет, то проиграет ее немецкий народ, это его вина.

Однако при исторических причинных связях никак нельзя разграничить причину и ответственность в тех случаях, когда человеческие действия сами суть некий фактор. Поскольку на происходящее влияют решения, то, что служит причиной, есть в то же время вина или заслуга.

А то, что не зависит от воли и решения, — это ведь всегда в то же время задача. Как проявит себя данное от природы, зависит и от того, как воспримет это, как обойдется с этим, что сделает из этого человек. Никакой ход событий историческая наука не может считать просто неизбежным. Так же как эта наука никогда не может дать точного прогноза (как то бывает, например, в астрономии), она и ретроспективно, задним числом, не может признать неизбежности ни всего происшедшего, ни отдельных действий. В обоих случаях она видит пространство возможностей, только в отношении прошлого картина эта богаче и конкретнее.

Историко-социологическое понимание и рисуемая историческая картина — это уже опять-таки фактор событий и, стало быть, дело ответственности.

Из данностей, которые как таковые находятся еще вне сферы свободы, а потому и вне сферы виновности и ответственности, называют прежде всего географические условия и всемирно-историческую обстановку.

1. Географические условия

У Германии со всех сторон открытые границы. Если она хочет устоять как государство, то всегда должна быть сильной в военном отношении. Времена слабости делали ее добычей государств запада, востока и севера, наконец, даже юга (Турция). Из-за своего географического положения Германия никогда не знала покоя защищенности, как Англия и еще больше Америка. Ради своего великолепного внутриполитического развития Англия могла позволить себе десятки лет внешнеполитического бессилия и военной слабости. Из-за этого ее вовсе не завоевывали. Последнее вторжение было в 1066 году. Такая страна, как Германия, которую не удерживают от распада ясные границы, была вынуждена создавать военные государства, чтобы вообще сохраниться как народность. Такую роль долгое время играла Австрия, потом Пруссия.

Особенность каждого такого государства и его военный характер накладывали свой отпечаток на остальную Германию, воспринимаясь всегда и как нечто чужое. Приходилось закрывать глаза на то, что внутри Германии, в сущности, всегда господствует надо всем хоть и немецкое, но чужое, или на то, что бессилие раздробленной страны отдает ее во власть иноземцев.

Поэтому не было никакой долговечной столицы, а были только временные центры. Вследствие того, что центры тяжести Германии менялись, каждый из них ощущала и признавала своим только какая-то часть Германии.

Не было фактически и духовного центра, где бы встречались все немцы. Наша классическая литература и философия тоже не были еще достоянием немецкого народа, а принадлежали маленькому образованному слою, простиравшемуся, однако, через все немецкие государственные границы до границ распространения немецкого языка. И даже внутри этого слоя не наблюдалось единодушия в вопросе о том, что считать великим.

Можно сказать, что географическое положение, с одной стороны, влекло за собой милитаризм с такими его последствиями, как всеобщий дух субординации, низкопоклонство, отсутствие внутренней свободы и демократического духа, с другой стороны, делало всякую государственную формацию явлением поневоле временным. Только при благоприятных обстоятельствах и необыкновенно разумных, недюжинных политиках государство могло какое-то время существовать. Один-единственный безответственный вождь мог привести государство и Германию к полной политической гибели.

Сколь ни верны в общих чертах все эти соображения, столь же важно для нас не видеть здесь абсолютной неизбежности. Какая сложится военная формация, найдутся ли мудрые вожди или нет, это из географического положения никоим образом не вытекает.

При сходном географическом положении, например, политическая энергия, солидарность и разумность римлян привели к совсем другим результатам, а именно к объединению Италии и в конце концов к мировой империи, правда, в итоге с уничтожением свободы. Изучение республиканского Рима крайне интересно (потому что показывает, как милитаристское развитие и империализм приводят демократический народ к потере свободы).

Если географические условия еще оставляют место свободе, то, мол, все решает данный народу от природы характер, а он, мол, вне категорий виновности и ответственности. Это не что иное, как способ делать неверные оценки, одно преувеличивая, а другое преуменьшая.

Что в природной основе нашего бытия есть нечто, каким-то образом воздействующее и на тончайшую духовность, — вполне вероятно. Но мы смеем сказать, что почти ничего не знаем об этом. Интуицию непосредственного впечатления, столь же очевидную, сколь и обманчивую, на миг убедительную, а на проверку ненадежную, никакое учение о расах не подняло на уровень настоящего знания.

Народный характер, действительно, рисуют всегда на примере каких-то выхваченных исторических фигур. Однако фигуры эти есть уже результат событий и созданной событиями обстановки. Они — это каждый раз группа фигур, которая только как некий тип существует среди других. В зависимости от обстановки могут выйти на свет совсем другие, вообще-то скрытые возможности характера. Природный характер наряду со способностями, вероятно, существует, но мы его просто не знаем.

Мы не смеем сваливать свою ответственность на него, мы, как люди, должны сознавать себя свободными для всяких возможностей.

2. Всемирно-историческая обстановка

Каково положение Германии в мире, что происходит в мире, как относятся другие к Германии — это для Германии тем существеннее, что ее незащищенное географическое положение в центре подвергает ее влияниям мира больше, чем другие европейские страны. Поэтому слова Ранке о

приоритете внешней политики перед внутренней были справедливы для Германии, но не в общеисторическом смысле.

Я не стану разбирать политические связи последнего полустолетия. Они, конечно, важны для понимания того, что стало возможным в Германии. Я брошу взгляд только на внутренний, духовный феномен. Можно, вероятно, сказать: в Германии прорвалось то, что происходило во всем западном мире как кризис духа и веры.

Это не уменьшает вину. Ведь прорвалось-то в Германии, а не где-то еще. Но это освобождает от абсолютной изоляции. Это становится поучительно для других. Это касается каждого.

Определить эту критическую всемирно-историческую обстановку непросто: меньшая действительность христианской и библейской веры вообще; безверие, хватающееся за заменитель веры; общественные перемены, вызванные развитием техники и методами работы и естественным образом ведущие к социалистическим укладам, где вся масса населения, где каждый получит достойные человека права. Положение везде более или менее таково, что впору сказать: должно быть иначе. В такой обстановке наиболее пострадавшие, наиболее уверенные в своей неудовлетворенности люди склоняются к поспешным, опрометчивым, обманчивым, головокружительным решениям.

В процессе, охватившем весь мир, Германия совершила такой головокружительный прыжок в пропасть.

3. Вина других

Кто, заглянув в себя, еще не понял своей виновности, тот будет склонен обвинять обвинителей.

Склонность нанести ответный удар — это сейчас у нас, немцев, нередко признак того, что мы

еще не поняли самих себя. Но в нашей катастрофе главный интерес каждого из нас — это ясность от-носительно себя самого. *Основать нашу новую жизнь на началах* нашей сущности можно, только *разглядев себя насквозь*.

Это не значит, что нам не позволено видеть факты, глядя на другие государства, которым Германия в конечном счете обязана освобождением от гитлеровского ига и решениям которых вверена наша дальнейшая жизнь.

Мы должны и вправе уяснить себе, что в поведении других отягчило наше положение внутренне и внешне. Ведь то, что они сделали и сделают, идет от мира, где нам, в полной зависимости от него, нужно найти свой путь. Мы должны избегать иллюзий. Нам нельзя ни слепо все отклонять, ни слепо чего-то ждать.

Когда мы говорим о виновности других, само слово «виновность» может ввести в заблуждение. Если они своим поведением сделали возможным все, что произошло, то это политическая виновность. Рассуждая о ней, нельзя ни на минуту забывать, что она находится в другой плоскости, чем преступления Гитлера.

Два пункта кажутся нам существенными: политические действия победивших держав с 1918 года и присутствие этих держав при строительстве гитлеровской Германии:

1. Англия, Франция, Америка были державами, победившими в 1918 году. От них, а не от побежденных зависел ход мировой истории. Победитель или берет на себя ответственность, лежащую только на нем, или уклоняется от нее. И если уклоняется, то его историческая виновность очевидна.

Победителю не положено замыкаться в своей узкой сфере, искать покоя и только наблюдать за происходящим в мире. У него есть власть, чтобы

предотвратить событие, сулящее пагубные последствия. Неупотребление этой власти — политическая вина того, кто обладает ею. Если он ограничивается обвинениями на бумаге, значит, он уклоняется от своей задачи. Такое бездействие — это упрек победившим державам, который, однако, с нас вины не снимает.

Можно прояснить это, указав на Версальский мирный договор и его последствия, затем на скатывание Германии к состоянию, которое породило национал-социализм. Можно, далее, сослаться на терпимое отношение к вторжению японцев в Маньчжурию, первому акту насилия, который в случае удачи должен был подать пример, на терпимое отношение к абиссинской кампании 1935 года, к этому акту насилия со стороны Муссолини. Можно посетовать на политику Англии, которая резолюциями Лиги Наций в Женеве ставила Муссолини в безвыходное положение, но оставляла эти резолюции на бумаге, не имея ни воли, ни силы, чтобы действительно уничтожить теперь Муссолини, но не проявляя и ясной радикальности, чтобы, наоборот, вступить с ним в союз и вместе с ним, медленно изменяя его режим, встать против Гитлера и обеспечить мир. Ведь тогда Муссолини был готов выступить вместе с западными державами против Германии, он еще в 1934 году провел мобилизацию и произнес забытую потом речь с угрозами Гитлеру, когда тот хотел вторгнуться в Австрию. Эта половинчатая политика привела затем к союзу Гитлер—Муссолини.

Но на это можно возразить: никто не знает, каковы были бы дальнейшие последствия при других решениях. И прежде всего: англичане ведут политику еще и моральную (что национал-социалистическое мышление учитывало даже как слабость Англии). Англичане не могут поэтому беспрепятственно принимать любое политически

эффективное решение. Они хотят мира. Они хотят использовать все шансы, чтобы его сохранить, прежде чем принимать крайние меры. Лишь при явной безвыходности они готовы к войне.

2. Есть не только государственная, но также европейская и человеческая солидарность.

По праву или не по праву, но когда дверь тюрьмы под названием Германия захлопнулась, мы надеялись на европейскую солидарность.

Мы еще не предвидели последних страшных последствий. Но мы видели радикальную потерю свободы. Мы знали, что это дает простор произволу правителей. Мы видели несправедливость, видели отверженных, хотя это выглядело еще безобидно по сравнению с тем, что принесли позднейшие годы. Мы знали о концентрационных лагерях, еще не зная о творящихся там жестокостях.

Конечно, все мы в Германии виновны в том, что попали в такое политическое положение, что потеряли свою свободу и должны были жить под деспотией некультурных, грубых людей. Но мы могли в то же время в свое оправдание сказать себе, что пали жертвой скрытых правонарушений и актов насилия. Как в государстве пострадавший от преступления отстаивает свои права благодаря государственному порядку, так и мы надеялись, что европейский порядок не допустит таких государственных преступлений.

Не могу забыть один разговор у себя в квартире в мае 1933 года с одним своим другом¹, позднее эмигрировавшим и живущим сейчас в Америке, разговор, в котором мы с надеждой и страстью обсуждали возможность скорого вторжения запад-

¹ Это был философ Эрих Франк (умер в 1948 году), когда он, полный тоски по Европе, только что прибыл в Амстердам.

Прим. автора.

ных держав. Он сказал: если они будут выжидать еще год, Гитлер победит, Германия погибнет, погибнет, может быть, Европа.

В таком состоянии, подкошенные, а потому во многом прозорливые и в чем-то слепые, мы со все новым ужасом встречали следующие события.

В начале лета 1933 года Ватикан заключил конкордат с Гитлером. Переговоры вел Папен. Это было первое серьезное признание гитлеровского режима, сильно повысившее престиж Гитлера. Сначала это казалось невозможным. Но факт оставался фактом. Нас охватил ужас.

Все государства признали гитлеровский режим. Слышны были голоса восхищения.

В 1936 году в Берлине праздновалась Олимпиада. Весь мир хлынул туда. На каждого иностранца, там появлявшегося, мы могли смотреть только с болью, только с досадой из-за того, что он бросает нас на произвол судьбы, — но они так же не знали этого, как и многие немцы.

В 1936 году Рейнская область была оккупирована Гитлером. Франция стерпела это.

В 1938 году в «Таймсе» было напечатано открытое письмо Черчилля Гитлеру, где попадались такие фразы: «Если Англия придет к национальной катастрофе, сравнимой с катастрофой Германии в 1918 году, я буду молить Бога послать нам человека Вашей силы воли и духа» (помню и сам, но цитирую по Рёпке).

В 1935 году Англия через Риббентропа заключила мирный пакт с Гитлером. Для нас это означало: Англия поступится немецким народом, если только сможет сохранить мир с Гитлером. Мы им безразличны. Они еще не взяли на себя ответственность за Европу. Они не только наблюдают за тем, как здесь растет зло, но и мирятся с ним. Они позволяют немцам увязнуть в террористическом

милитаристском государстве. В их газетах, правда, слышна брань, но они палец о палец не ударяют. Мы в Германии бессильны. Сейчас они могут еще, вероятно без чрезмерных жертв, восстановить у нас свободу. Они этого не делают. Это будет иметь последствия и для них, будет стоить им гораздо больших жертв.

В 1939 году Россия заключила пакт с Гитлером. Благодаря этому война и стала в последнюю минуту возможна для Гитлера. А когда она началась, все нейтральные государства и Америка стояли в стороне. Мир отнюдь не сплотился, чтобы одним общим усилием быстро покончить с этой дьявольщиной.

Вот как характеризует Рёпке общую ситуацию 1933—1939 годов в своей вышедшей в Швейцарии книге о Германии.

«Нынешняя мировая катастрофа — это огромная цена, которую мир платит за то, что пожелал быть глухим ко всем тревожным сигналам, все пронзительнее с 1930 по 1939 год возвещавшим тот ад, в который сатанинские силы национал-социализма ввергнут сначала Германию, а затем остальной мир. Ужасы этой войны точно соответствуют тем, которым мир попустительствовал в Германии, даже поддерживая нормальные отношения с национал-социалистами и организуя с ними международные праздники и конгрессы».

«Сегодня каждому должно быть ясно, что немцы были первыми жертвами варварского нашествия, захлестнувшего их снизу, что они были первыми, на кого обрушились террор и массовый гипноз, и что все, что довелось претерпеть оккупированным странам, испытали сначала сами немцы, включая самое худшее: их вынудили или соблазнили стать орудиями дальнейшего захвата и угнетения».

Когда нас упрекают, что мы — при терроре — сложа руки смотрели, как творились преступления

и как укреплялся режим, то это правда. Мы смеем представить себе, что другие — без террора — тоже сложа руки попустительствовали, даже неумышленно способствовали тому, что их, на их взгляд, поскольку происходило это в другом государстве, никак не касалось.

Должны ли мы признать, что виновны мы одни?

Да, коль скоро речь идет о том, кто начал войну —

кто первый осуществил террористическую организацию всех сил ради одной цели — войны —

кто как народ отступился от своей сути, предал ее —

более того: кто совершил особые зверства, превосходящие все другие. Дуайт Макдональд говорит, что ужасные дела совершались всеми воюющими сторонами, но кое-что свойственно именно немцам: параноическая ненависть без какого бы то ни было политического смысла, жестокость мук, рационально достигаемая современными техническими средствами, которые превосходят все средневековые орудия пытки... Однако это были некоторые немцы, маленькая группа (при неопределенном проценте тех, кто способен был по приказу участвовать в зверствах). Немецкий антисемитизм ни на один миг не был народной акцией. В германских погромах население не участвовало, не было спонтанных жестокостей в отношении евреев. Народная масса молчала и отстранялась, а то и слабо выражала свое неодобрение.

Должны ли мы признать, что виновны мы одни? Нет, если нас в целом, как народ, как постоянную человеческую разновидность, делают просто злым народом, который виновен как таковой. В опровержение этого мнения мира мы можем ссылаться на факты.

Но такие разъяснения не опасны для нашей позиции только при условии, что мы не будем забывать того, что следует повторить еще раз:

1. Вся вина, которую можно возложить на других и которую они сами на себя возлагают, была не в преступлениях, совершенных гитлеровской Германией. Вина их была тогда в попустительстве, половинчатости, в политическом заблуждении.

То, что в результате противники и превратили лагеря для военнопленных в концентрационные лагеря и совершали такие же действия, какие первой совершала Германия, — это второстепенно. Здесь речь не о событиях после перемирия, не о том, что вытерпела Германия и что она еще после капитуляции вытерпит.

2. Задача наших рассуждений о виновности — проникнуть в смысл нашей собственной вины, даже и тогда, когда мы говорим о вине других.

3. Утверждение «Другие не лучше, чем мы», вероятно, справедливо. Но в данный момент оно применяется неверно. Ибо теперь, в эти прошедшие двенадцать лет, другие и в самом деле были лучше, чем мы. Не нужно общей истиной сглаживать особую нынешнюю истину собственной вины.

4. Вина всех?

Когда по поводу противоречий политического поведения держав говорят, что таковы уж неизбежности политики, можно ответить: это общечеловеческая вина.

Представлять себе действия других нужно нам вовсе не для того, чтобы уменьшить свою вину, это оправдано разделяемой нами, как людьми, со всеми другими людьми заботой о человечестве, которое сегодня не только сознает свою целостность, но, вследствие технических достижений века, устраивает или расстраивает свою жизнь.

Тот основополагающий факт, что все мы люди, дает нам право на эту заботу о человечестве в целом. Каким это оказалось бы облегчением, если бы победители были не такими же, как мы, людьми, а самоотверженными правителями мира. Тогда бы они с мудрой предусмотрительностью наладили счастливое восстановление разрушенного, включая эффективное возмещение ущерба. Тогда бы они на деле и на собственном примере показали нам идеал демократической жизни, сделали бы его для нас убедительной, каждодневно ощутимой реальностью. Тогда они дружно вели бы между собой разумную, откровенную, свободную от задних мыслей дискуссию, быстро и толково решая все возникающие вопросы. Тогда были бы невозможны ни обман, ни ханжество, ни умалчивания, ни различие между публичными и частными разговорами. Тогда наш народ получал бы прекрасное воспитание, бурно развивались бы умы всего нашего населения, мы овладевали бы богатым духовным наследием. Тогда с нами обращались бы строго, но и справедливо, проявляя доброту, даже любовь при малейшем знаке доброй воли со стороны несчастных и обманутых.

Но победители такие же люди, как мы. И в их руках будущее человечества. Как люди, мы всем своим существованием, всеми возможностями своего естества привязаны к тому, что они делают, и к последствиям их действий. Поэтому в наших же интересах понимать, чего они хотят, что думают и делают.

Заботясь об этом, мы спрашиваем себя: может быть, другие народы счастливее и в силу более благоприятных политических судеб? Может быть, они делают те же ошибки, что мы, но пока без тех роковых последствий, которые столкнули нас в пропасть?

Они отказались бы выслушивать предостережения от нас, пропащих и несчастных. Они, наверно, этого не поймут и сочтут это даже наглостью, если немцы станут заботиться о ходе истории, зависящем от них, а не от немцев. Но это так; нас гнетет кошмарная мысль: если в Америке когда-нибудь установится диктатура в стиле Гитлера, тогда конец, тогда безнадежность на необозримые времена. Мы в Германии могли быть освобождены извне. Когда приходит диктатура, освобождение изнутри невозможно. Если англосаксонский мир будет, как прежде мы, диктаторски завоеван изнутри, тогда никакого «извне» уже не будет. Тогда конец свободе, которую обрели в борьбе люди Европы и борьба за которую длилась столетия, даже тысячелетия. Снова воцарилась бы примитивность деспотизма, но технически оснащенного. Наверно, окончательно несвободным человек стать не может. Но это будет тогда утешение на очень отдаленное будущее. По Платону: в ходе бесконечного времени тут или там осуществляется или снова осуществляется то, что возможно. Мы со страхом смотрим на чувства морального превосходства: кто чувствует себя абсолютно застрахованным от опасности, тот уже в опасности. Судьба Германии — урок для всех. Пусть этот урок поймут! Мы — не худшая порода. Везде у людей сходные свойства. Везде есть склонное к насилию, преступное, энергичное меньшинство, которое при случае захватывает власть и действует грубо.

Нас вполне может озаботить самоуверенность победителей. Ведь отныне вся решающая ответственность за ход вещей лежит на них. Это их дело — предотвратить вину или накликать новые беды. То, что может теперь стать их виной, было бы одинаковой бедой для нас и для них. Теперь, когда речь идет о человечестве в целом, их ответственность за их поступки растет. Если цепь эта не пре-

рвется, победители окажутся в таком же положении, как мы, но с ними и все человечество. Близорукость человеческого мышления, особенно в виде общественного мнения, которая всегда все затопляет собой, чрезвычайно опасна. Орудия Бога не суть Бог на земле. Платить злом за зло, тем более узникам, а не только тюремщикам, — это значит вызывать злость и готовить новую беду.

Прослеживая свою собственную вину до ее истоков, мы обнаруживаем человеческие свойства, обернувшиеся в немецкой форме особой, чудовищной виновностью, но возможные в человеке как в таковом.

Когда заходит речь о немецкой вине, случается, говорят: это вина всех, скрытое везде зло виновно в том, что оно вырвалось наружу у немцев.

Мы действительно прибегли бы к ложному оправданию, если бы пытались уменьшить свою вину ссылкой на принадлежность к роду человеческому. Такая мысль не смягчает, а усугубляет вину.

Вопрос о первородном грехе не должен быть лазейкой для ухода от немецкой вины. Знать о первородном грехе — еще не значит понимать немецкую вину. Но религиозное признание первородного греха не должно быть прикрытием ложного признания коллективной виновности немцев, с нечестной неясностью выдающего одно за другое.

Мы не стремимся обвинять других. Но, наученные опытом увязших, очнувшихся и опомнившихся, мы думаем: пусть бы другие не шли такими путями.

Теперь начался новый период истории. Отныне за то, что будет, несут ответственность державы-победительницы.

III. НАШЕ ОЧИЩЕНИЕ

Самоанализ, историческое самоосмысление народа и личный самоанализ отдельного человека с виду разные вещи. Однако первое достигается лишь через второе. То, что совершают друг с другом в процессе общения отдельные люди, может, если это справедливо, стать распространенным сознанием многих и считается тогда самосознанием народа.

И опять мы должны высказаться против коллективного мышления. Всякая настоящая перемена происходит через отдельных людей, во множестве отдельных людей, вне зависимости друг от друга или в побудительном обмене мнениями.

Мы, немцы, все, хотя и на очень разный, даже противоположный лад, задумываемся о своей виновности или невинности. Мы все это делаем — и национал-социалисты, и противники национал-социализма. Говоря «мы», я имею в виду людей, с которыми я сознаю свою солидарность прежде всего благодаря языку, происхождению, ситуации, судьбе. Я никого не хочу обвинять, когда говорю «мы». Если другие немцы чувствуют себя невинными, это их дело, за исключением двух пунктов: наказания за преступления тех, кто их совершил, и всеобщей политической ответственности за действия гитлеровского государства. Те, кто чувствуют себя невинными, будут предметом нападков лишь в том случае, если будут нападать сами. Если они, продолжая мыслить нацио-

нал-социалистически, отказывают нам в немецкости, если они, вместо того чтобы задуматься и прислушаться к доводам, стараются слепо побить других общими суждениями, то они разрушают солидарность, не хотят проверить себя и развить в разговоре друг с другом.

Естественный, непатетический, взвешенный взгляд на вещи — не редкость среди населения. Вот примеры простых высказываний.

Восьмидесятилетний ученый: «Никогда я за эти двенадцать лет не колебался, но никогда я не был доволен собой; я то и дело задумывался, нельзя ли перейти от чисто пассивного сопротивления нацистам к действию. Организация Гитлера была слишком дьявольской».

Молодой антинацист: «Ведь и нам, противникам национал-социализма, после того как мы, хоть и скрежеща зубами, склонились перед «режимом страха», нужно очиститься. Мы отмежевываемся от фарисейства тех, кто думает, что отсутствие партийного значка делает их первоклассными людьми».

Служащий во время денацификации: «Если я позволил загнать себя в партию, если мне жилось относительно хорошо, если я устроился в нацистском государстве и стал, таким образом, извлекать из него пользу — даже если теперь я из-за этого пострадал, жаловаться я, как порядочный человек, не вправе».

1. Увиливание от очищения

а) Взаимные обвинения

Мы, немцы, очень отличаемся друг от друга по характеру и степени участия в национал-социализме или сопротивления ему. Каждый должен задуматься о своем внутреннем и внешнем поведе-

нии в поисках своего возрождения в этом кризисе немецкого.

Очень различен у отдельных лиц и момент, когда началась эта внутренняя переплавка, в 1933-м ли, в 1934-м, после убийств 30 июня, с 1938-го ли, после поджога синагог, или только во время войны, или только под угрозой поражения, или только после разгрома.

Во всем этом мы, немцы, не можем привести себя к общему знаменателю. При своих исходных различиях мы должны быть открыты друг другу. Общий знаменатель — это, наверно, только подданство. Тут все вместе отвечают за то, что допустили 1933 год и не умерли. Это объединяет также внешнюю и внутреннюю эмиграцию.

Такие большие различия позволяют чуть ли не всем упрекать всех. Это продолжается до тех пор, пока отдельный человек действительно видит только свое собственное положение и положение подобных ему, а о положении других судит только по себе. Поразительно, что по-настоящему мы волнуемся только тогда, когда дело касается только нас самих, и все видим в свете своего особого положения. Мы приходим в отчаяние, когда нас покидает терпение в разговоре друг с другом и когда мы встречаем холодный и резкий отпор.

В прошлые годы встречались немцы, требовавшие от нас, других немцев, чтобы мы стали мучениками. Мы, мол, не должны молча мириться с происходящим. Если наш поступок и не будет иметь успеха, то все же послужит некоей нравственной опорой для всего населения, зримым символом подавленных сил. Такого рода упреки случалось мне слышать с 1933 года от своих друзей, и от мужчин и от женщин.

Подобные требования вызывали сильное волнение потому, что в них заключена глубокая правда, которая, однако, обидно извращена манерой ее выражения. То, что человек может испытать перед лицом трансценденции наедине с собой, переводится в плоскость морализирования, а то даже и сенсации. Тишина и благоговение потеряны.

Скверным примером ухода во взаимные обвинения являются ныне всяческие дискуссии между эмигрантами и оставшимися здесь, между группами, именуемыми иногда внешней и внутренней эмиграцией. Каждая страдала по-своему. Эмигрант: мир чужого языка, тоска по дому. Символичен рассказ о немецком еврее в Нью-Йорке, повесившем у себя в комнате портрет Гитлера. Почему? Только при таком ежедневном напоминании об ужасе, который ждет его дома, он в состоянии совладать со своей тоской... Оставшийся на родине: покинутость, положение изгоя в собственной стране, опасности, одиночество в беде, все избегают тебя, кроме некоторых друзей, обременять которых — для тебя опять-таки мука... Но когда одни обвиняют других, нам достаточно спросить себя: хорошо ли у нас на душе при виде психологического состояния и тона таких обвинителей, рады ли мы, что такие люди так чувствуют, образец ли они, есть ли в них что-то похожее на подъем, свободу, любовь, которые нас ободряют? Если нет, значит, неверно то, что они говорят.

б) Самоуничтожение и упрямство

Мы чувствительны к упрекам и всегда готовы упрекать других. Нам не хочется давать в обиду себя, но мы еще как раздаем моральные оценки другим. Даже тот, кто виновен, не хочет, чтобы ему говорили об этом. Вплоть до мелочей быта мир полон отношений, порождающих беды.

Кто очень обижается на упреки, у того обида легко может перейти в стремление признать свою вину. У таких признаний — ложных, потому что они сами еще инстинктивны и делаются с удовольствием, — есть одна явная черта: поскольку их, как и их противоположность, питает у одного и того же человека одно и то же стремление к власти, чувствуется, что признающий свою вину хочет своим признанием повысить себе цену, выделиться среди других. Его признание вынуждает к признанию других. В таком признании есть агрессивность.

Поэтому первое требование философского подхода к вопросам виновности — это внутренний расчет с самим собой, гасящий одновременно и чувствительность к упрекам, и стремление признать себя виновным.

Сегодня этот феномен, описанный мною психологически, переплелся с серьезностью нашего немецкого вопроса. Наша опасность — самоуничтожительные причитания при признании вины и упрямая замкнутость гордости.

Многих соблазняет их сиюминутный житейский интерес, им кажется выгодным признать свою вину. Возмущение мира нравственно порочной Германией соответствует их готовности признать себя виновными. Могущественного встречают лестью. Хочется сказать то, что он желает услышать. К этому прибавляется фатальная склонность полагать, что, признав себя виновным, ты становишься лучше других. Саморазоблачаясь, ты нападаешь на других, которые этого не делают. Позорность таких дешевых самообвинений, бессовестность мнимо выгодной лести очевидна.

Иное дело — упрямая гордость. Из-за нравственных атак на тебя как раз и коснеешь. Хочется сохранить чувство собственного достоинства при

мнимой внутренней независимости. Но ее-то и нельзя достичь, если у тебя нет ясности в главном, решающем.

Главное же заключено в том вечном основополагающем феномене, который сегодня в новом виде опять налицо: кто, будучи полностью побежден, предпочитает жизнь смерти, тот может жить по правде (а правда — единственное, что сохраняет ему человеческое достоинство) только в том случае, если он выберет эту жизнь с сознанием смысла, в ней содержащегося.

Решение жить в бессилии — это акт основополагающей для жизни серьезности. Из него следует перемена, видоизменяющая все оценки. Если он совершается, если ты берешь на себя его последствия, готов страдать и трудиться, то в этом, может быть, состоит высшая возможность человеческой души. Ничего не достается даром. Ничто не приходит само собой. Только если ясно, что это решение — начало, можно избежать извращений самоуничтожения и гордого упрямства. Очищение ведет к ясности этого решения и к ясности его последствий.

Если одновременно с побежденностью появляется виновность, надо принять не только бессилие, но и вину. А из того и другого вместе должна получиться та переплавка, которой человеку не хочется подвергаться.

Гордое упрямство находит множество точек зрения, выпренности, громких фраз, чтобы создать себе иллюзию, позволяющую гордо упорствовать. Например:

Переиначивается смысл необходимости отвечать за случившееся. Дикая склонность «не отрекаться от нашей истории» позволяет скрытно одобрять зло, находить в нем добро, таить его в

душе как гордую цитадель. Такое извращение смысла сделало возможным фразы вроде следующих: «Мы должны знать, что еще несем в себе изначальную силу той воли, которой создано наше прошлое, и на этом стоять и вобрать это в свою жизнь... Мы были добром и злом и хотим остаться добром и злом... и мы сами — это всегда только наша история, силу которой мы носим в себе...» «Пиетет» должен заставить молодое поколение Германии снова стать таким, каким было предшествующее.

Упрямство в облачении пиетета путает здесь историческую почву, в которую уходят наши любимые корни, со всей совокупностью реальностей общего прошлого, многие из которых мы, в сущности, не только не любим, но и отвергаем как чуждые нашей сути.

При признании зла злом возможны такие фразы: «Мы должны стать настолько мужественными, настолько крупными, настолько мягкими, чтобы сказать: да, и этот ужас был нашей действительностью и остается ею, но у нас есть сила все-таки претворить его в себе в творческий труд. Мы знаем в себе ужасную возможность, которая однажды в бедственном заблуждении осуществилась. Мы любим и уважаем все свое историческое прошлое, этот пиетет и эта любовь больше, чем всякая отдельная историческая вина. Мы носим этот вулкан в себе с отвагой знания, что он может нас разорвать, но с убежденностью, что если мы сумеем его укротить, то тогда-то как раз и откроется нам предел нашей свободы: в опасной силе такой возможности осуществить то, что в единении со всем миром будет общечеловеческим подвигом нашего духа».

Это соблазнительный призыв — он рожден плохой философией иррационализма — без всяко-

го решения довериться экзистенциальной нивелировке. «Укротить» слишком мало. Нужен «выбор». Если он не будет сделан, сразу же возможно снова упрямство зла, непременно ведущее к *ressa fortiter*¹. Не понимают, что на почве зла возможно только иллюзорное единение.

Другая разновидность гордого упрямства одобряет весь национал-социализм с эстетической точки зрения, делающей из беды, на которую нужно смотреть трезво, из явного зла некое ложное, одурманивающее великолепие.

«Весной 1932 года один немецкий философ пророчествовал, что через десять лет политически управлять миром будут только из двух полюсов — Москвы и Вашингтона; что Германия, находясь между ними, утратит свое геополитическое значение и будет существовать только как духовная сила.

Немецкая история, для которой поражение 1918 года в то же время открыло виды на большую консолидацию, даже на создание наконец великой Германии, восстала против этой напрогнозированной и действительно появившейся тенденции упростить мир, свести его к двум полюсам. Немецкая история собралась с силами для одинокого титанического и своевольного рывка против этой мировой тенденции, чтобы все-таки достичь своих национальных целей.

Если то пророчество немецкого философа, устанавливавшее для начала американско-русского мирового господства срок только в десять лет, было верно, то быстроту, скоропалительность и насильственность немецкого противодействия можно понять; это была быстрота внутренне осмысленного и захватывающего, но исторически уже запоздалого бунта. В прошедшие месяцы мы

¹ Грешни вовсю (лат.).

видели, как эта быстрота перешла под конец в одинокое неистовство... Философ выносит приговор походя: немецкая история кончилась, теперь начинается эра Вашингтона—Москвы. История, в которой столько величия и тоски, как в немецкой, не может просто поддакивать такому академическому решению. Она вспыхивает, она, яростно защищаясь и атакуя, в диком смятении веры и ненависти, бросается к своему концу».

Так летом 1945 года в сумятице мрачных чувств писал один автор, которого я как человека глубоко уважаю.

Все это на самом деле не очищение, а дальнейшее увязание. Такие мысли — в них есть и самоуничтожение, и упрямство — дают на миг чувство как бы освобождения. Кажется, что ты обрел почву под ногами, а ты, наоборот, попал в безвыходное положение. Тут возрастает лишь мутность чувств, еще больше сопротивляясь возможностям подлинной внутренней перемены...

Всем разновидностям упрямства присуще агрессивное молчание. Люди ретируются, когда доводы становятся неопровержимыми. Чувство собственного достоинства они черпают в молчании как последней силе бессильного. Молчание демонстрируют, чтобы обидеть сильного. Молчание скрывают, чтобы мечтать о восстановлении прежнего — о политическом восстановлении путем захвата власти, хотя она и смешна в руках тех, кто непричастен к гигантской мировой военной промышленности, производящей орудия уничтожения, о психологическом восстановлении путем самооправдания, не признающего никакой вины: мол, судьба решила дело не в мою пользу; причина в бессмысленном материальном перевесе; поражение было почетным; в душе я лелею свою верность и свой героизм. Но при такой позиции только

усиливается внутренний яд иллюзионистического мышления и пьянящего предвкушения: «пока еще не кулаками и пинками...», «в тот день, когда мы...».

в) Увиливание со ссылкой на обстоятельства, вообще-то имеющие место, но для вопроса о виновности несущественные

Видя собственное бедственное положение, многие думают: помогите, но не говорите о наказании. Огромное бедствие извиняет. Мы слышим, например:

«Разве забыт террор бомбежек? Разве он, стоивший миллионам невинных жизни, здоровья и всего имущества, не есть плата за преступление на немецкой земле? Разве не обезоруживает вопиющее к небу горе беженцев?»

«Я из южного Тироля, приехала в Германию совсем молодой 30 лет назад. Страдания немцев я разделяла с первого до последнего дня, получала удар за ударом, приносила одну жертву за другой, испила горькую чашу до дна, а теперь меня обвиняют в том, чего я вовсе не совершала».

«Беда, обрушившаяся на весь народ, так огромна, принимает такие невероятные размеры, что лучше не сыпать соль на раны. А сколько невинных пострадали больше, чем того, может быть, требует справедливая кара».

Беда действительно апокалиптична. Все жалуются, и по праву: те, кто избежал концлагеря или преследования, и те, кто помнит ужасные муки; те, кто самым жестоким образом потерял своих любимых; миллионы эвакуированных и беженцев, скитающиеся почти без всякой надежды; многие попутчики партии, выявляемые теперь и оказавшиеся в бедственном положении; американцы и другие союзники, отдавшие годы жизни и потерявшие миллионы погибших; европейские наро-

ды, измученные террором национал-социалистической немецкой власти; немецкие эмигранты, которые должны жить в среде чужого языка и в тяжелейших условиях. Все, все.

Перечисляя жалующихся, я поставил рядом разнообразные группы, чтобы почувствовалось их несоответствие друг другу. Беда как беда, как разруха — повсюду, но она совершенно различна по обстоятельствам, с которыми она связана. Несправедливо объявлять всех равно невиновными.

В целом остается в силе, что мы, немцы, хоть теперь и оказались в самом бедственном положении среди народов, несем и самую большую ответственность за ход событий до 1945 года.

Поэтому нам, каждому в отдельности, не следует просто-напросто отмахиваться от вины, жалеть себя как жертву какого-то рока, ждать награды за свои страдания, а надо спросить, безжалостно разглядев себя на просвет: где я неверно чувствовал, неверно думал, неверно поступал? Надо как можно основательнее искать вину в себе, а не в других и не в обстоятельствах, не надо увиливать, ссылаясь на свои беды. Это вытекает из решения начать новую жизнь.

г) Увиливание со ссылкой на общую участь

Это будет обманчивое облегчение, если я сам, как отдельное лицо, перестану что-либо для себя значить, потому, мол, что все случившееся навалилось на меня, а я ничему не содействовал, и потому лично на мне никакой вины нет. В таком случае я сам живу, только бессильно терпя или бессильно участвуя. Я уже не живу самостоятельно. Вот несколько примеров:

1. Моральное толкование истории позволяет ждать справедливости в целом: «Нет вины без воздаянья»¹.

Я знаю, что нахожусь во власти тотальной виновности, при которой мои собственные поступки уже не играют роли. Если я проигрываю, меня успокаивает метафизическая безвыходность в целом. Если выигрываю, то к моему успеху прибавляется еще и чистая совесть моего превосходства. Тенденция не принимать себя всерьез как индивидуум парализует нравственные импульсы. Гордость покорного признания себя виновным в одном случае становится, как и гордость нравственной победы в другом, увиливанием от подлинно человеческой задачи, которая заключена всегда в индивидууме.

Но этот огульно-моральный подход к истории опровергается опытом. Ход вещей вовсе не однозначен. Солнце светит и праведным и неправедным. Между распределением счастья и нравственностью нет видимой связи.

Однако было бы неверным, огульным суждением противоположного рода сказать, наоборот: справедливости нет.

Верно, глядя на состояние и действия государства, иной раз нельзя отделаться от чувства: «Это не может кончиться добром», «За это придется расплачиваться». Но как только это чувство начинает уповать на справедливость, тут-то и возникает ошибка. Уверенным быть нельзя. Добро и правда не приходят сами собой. В большинстве случаев ущерб не возмещается. Гибель и месть обрушиваются как на виновных, так и на невиновных.

¹ Цигата из стихотворения Гёте. Букв.: «Всякая вина на земле мстит за себя». — *Прим. переводчика.*

Самая чистая воля, самая безудержная правдивость, самое высокое мужество могут при неблагоприятной ситуации остаться втуне. А пассивные наблюдатели незаслуженно оказываются порой благодаря поступку других в благоприятной ситуации.

Мысль о всеобщей виновности и своей включенности в связь «вина — возмездие» становится для индивидуума — несмотря на метафизическую правду, в этой мысли, может быть, и содержащуюся, — соблазном увильнуть от того, что только и есть целиком его собственное дело.

2. Общий взгляд, что, собственно, все на свете приходит к концу, что любое начинание кончается провалом, что во всем таится зародыш гибели, низводит эту неудачу со всякой другой неудачей, подлость с благородством на общую плоскость провала. Так эта неудача лишается своего веса.

3. Собственной беде, которую толкуют как следствие виновности всех, придают метафизический вес, видя в ней новую избранность: в катастрофе века Германия — искупительная жертва. Она страдает за всех. Через нее проявляется всеобщая вина и совершается возмездие всем.

Это ложная патетика, которая опять-таки уводит от трезвой задачи делать то, что действительно в твоих силах: то есть от задачи осязаемых улучшений и от внутреннего преображения. Это уход в «эстетику», ни к чему не обязывающий и потому уводящий от того, что должен самостоятельно осуществить отдельный человек. Это средство создать себе новым путем ложное коллективное чувство собственной важности.

4. Кажется, что мы освобождаемся от вины, когда при виде свалившихся на нас, немцев, огромных бед восклицаем: расплатились!

Тут надо различать вот что. Наказание можно отбыть, политическая ответственность ограничи-

вается и тем самым прекращается мирным договором. В отношении обоих этих пунктов такая мысль содержательна и верна. Но моральную и метафизическую вину, которую в коллективе каждый в отдельности только и считает своей, искупить, по сути, нельзя. Она не прекращается. Кто несет ее, тот вступает в процесс, длящийся всю его жизнь.

Мы, немцы, стоим здесь перед альтернативой. Либо признание вины, которую остальной мир не имеет в виду, но о которой нам говорит наша совесть, станет главной чертой нашего немецкого самосознания — и тогда наша душа пойдет путем преображения. Либо мы опустимся в заурядность безразличного существования; изначальный импульс в нашей среде уже не проснется; тогда нам уже не откроется, что есть, собственно, бытие; тогда мы уже не услышим трансцендентного смысла нашей высокой поэзии, нашего искусства, музыки, философии.

Без пути очищения, идущего из глубинного сознания своей вины, немцу не добыть правды.

2. Путь очищения

Очищение означает на практике прежде всего возмещение ущерба.

Политически это значит с внутренним согласием выполнять те повинности, которые обложены в юридическую форму, чтобы ценой наших собственных лишений восстановить народам, подвергшимся нападению гитлеровской Германии, часть разрушенного.

Кроме юридической формы, обеспечивающей справедливое распределение бремени, исполнение этих повинностей предполагает жизнь, работоспособность и возможность работы. Полити-

ческая воля к восстановлению ущерба неизбежно идет на убыль, если политическое поведение победителей уничтожает перечисленные предпосылки. Ибо тогда получился бы не мир, смысл которого — возместить ущерб, а продолжение войны в смысле дальнейшего разрушения.

Возмещение ущерба — это, однако, нечто большее. Кто внутренне задет виной, к которой он причастен, тот хочет помочь каждому, кто пострадал от произвола незаконного режима.

Есть две мотивации, которые нельзя путать: требование помочь там, где беда, — неважно из-за чего, просто потому, что она близко и нужна помощь, — и, во-вторых, требование признать право за депортированными, ограбленными, обобранными, замученными гитлеровским режимом, за эмигрантами.

Оба требования вполне справедливы, но есть разница в мотивации. Если нет чувства вины, то все беды сразу нивелируются, оказываются в одной и той же плоскости. Необходима дифференциация пострадавших, если я хочу поправить то, в чем виновен и я.

Очищение через возмещение ущерба неизбежно. Но очищение есть нечто гораздо большее. Да и возместить ущерб серьезно хотят только тогда, и только тогда возмещение ущерба приобретает этический смысл, если оно есть следствие нашей очистительной переплавки.

Уяснение вины есть в то же время уяснение нашей новой жизни и ее возможностей. Оно рождает серьезность и решимость.

Там, где это происходит, жизнь уже не просто источник чистого, беззаботного наслаждения. Хотя счастье бытия, когда оно выпадает, в какое-то промежуточное мгновение, в какой-то миг

передышки, мы и ощутим, но оно не заполнит бытие, а воспримется на фоне печали как милое волшебство. Жить позволено лишь в поглощенности некой задачей.

Следствие — смирение. Во внутреннем поведении перед трансцендентностью осознается наша человеческая бренность и незавершенность.

Тогда мы сможем без властности, в любовном борении выяснить истину и объединиться друг с другом в ней.

Тогда мы сможем неагрессивно молчать — из простоты молчания родится ясность поддающегося передаче словами.

Тогда нужны будут только правда и деятельность. Не кривя душой, мы будем готовы вынести то, что нам суждено. Что бы ни случилось, останется в силе, пока мы живы, та человеческая задача, которую на земле выполнить до конца нельзя.

Очищение — это путь человека как человека. Очищение через развитие мысли о виновности есть лишь момент этого пути. Очищение совершается проще всего не с помощью внешних действий, не с помощью магии. Очищение — это процесс внутренний, никогда не кончающийся, это постоянное становление. Очищение — это дело нашей свободы. Снова и снова каждый из нас оказывается на распутье: либо к очищению, либо в муть.

Очищение не есть одно и то же для всех. Каждый идет своим личным путем. Путь этот никто другой не может ни предвосхитить, ни указать. Общие мысли могут лишь насторожить, возможно, разбудить.

Если мы, наконец, спросим, в чем же состоит очищение, то сверх сказанного никаких других конкретных указаний дать нельзя. Где что-то не реализуется как цель разумной воли, а происходит

как изменение благодаря внутренней деятельности, там можно только повторять неопределенные, расплывчатые слова: порыв просветить и увидеть себя насквозь — любовь к человеку.

Что касается вины, то тут один из путей — продумать изложенные выше мысли. Их нужно не только отвлеченно постичь разумом, но и представить себе наглядно; их нужно вообразить, усвоить или отвергнуть собственным естеством. Этот процесс и то, что из него следует, есть очищение. Оно не есть еще что-то новое в конце, дополнительное...

Очищение — это условие и нашей политической свободы. Ибо лишь из сознания виновности возникает сознание солидарности и собственной ответственности, без которого невозможна свобода.

Политическая свобода начинается с того, что в большинстве народа отдельный человек чувствует и себя ответственным за политику своего общества; что он не только чего-то требует и кого-то ругает; что он заставляет себя видеть реальность и не основывать свои действия на неуместной в политике вере в земной рай, который не осуществился только по злой воле и глупости остальных; что он знает: политика ищет в конкретном мире проходимых путей, руководствуясь идеалом, отождествляющим звание человека со свободой.

Короче: без очищения души нет политической свободы...

Сколь далеко мы зашли во внутреннем очищении на почве сознания своей вины, мы можем судить по нашему отношению к моральным атакам на нас.

Без сознания вины нашей реакцией на каждую атаку останется контратака. Но если мы потрясены внутренне, то атака извне затрагивает нас лишь

поверхностно. Она может причинить боль и обидеть, но она не проникает в глубину души.

Проникшись сознанием вины, мы спокойно переносим ложные и несправедливые обвинения. Ибо наша гордость и наше упрямство сошли на нет.

Кто действительно чувствует свою вину так, что меняется его мировосприятие, на того упреки со стороны других людей действуют как безобидная детская забава. Где подлинное сознание вины колет как жало, там самосознание поневоле преобразуется. Слушая такие упреки, с тревогой чувствуешь непосвященность и неосведомленность упрекающего.

Без озарения и преображения нашей души чувствительность в беззащитном бессилии лишь возрастала бы. Яд психологических изменений губил бы нас внутренне. Мы должны быть готовы принимать упреки и, выслушав, проверять их. Атак на себя мы должны скорее искать, чем избегать, потому что они для нас — проверка нашего собственного мышления. Проявится наша внутренняя позиция.

Очищение освобождает нас. Ход вещей — не в руках человеческих, хотя человек и может зайти в управлении своей жизнью непредсказуемо далеко. Поскольку неопределенность и возможность новой и большей беды сохраняется, поскольку из преображения через сознание своей вины вовсе не вытекает, как естественное следствие, вознаграждение новым счастьем бытия, поэтому освободиться через очищение мы можем только для готовности к будущему.

Чистая душа может действительно ждать, что перед лицом полной гибели она будет без устали трудиться в мире во имя возможного.

Глядя на мировые события, нам полезно вспомнить Иеремию. Когда ему после разрушения Иерусалима, после потери государства и земли, после того, как его насильно увели с собой последние уходявшие в Египет евреи, — когда после всего этого ему еще довелось увидеть, как они приносят жертвы Изиде в надежде, что та поможет им больше, чем Ягве, ученик Иеремии, Варух, пришел в отчаяние. И тогда Иеремия сказал ему: «Так говорит Ягве: вот, что я построил, разрушу, и что насадил, искореню, а ты просишь себе великого. Не проси!» Что это значит? Достаточно того, что есть Бог. Если все исчезнет, есть Бог, это единственная точка опоры.

Но что верно перед лицом смерти, в крайних обстоятельствах, то становится скверным соблазном, если человек преждевременно предается усталости, нетерпению, отчаянию. Ибо верна эта пограничная позиция только тогда, когда она подкреплена непоколебимой разумностью, готовностью воспользоваться еще возможным, пока продолжается жизнь. Смирение и соблюдение меры — вот наша участь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 1963 ГОДА К МОЕЙ СТАТЬЕ «ВОПРОС О ВИНОВНОСТИ»

Статья писалась в 1945 году, в январе и феврале 1946 года изложена в лекциях и затем опубликована. При чтении нужно помнить о том времени, когда она писалась. Град обвинений сыпался на нас, немцев, ежедневно. Американским солдатам запрещалось говорить с нами, кроме как по служебной надобности. Только теперь открылись всему народу преступления национал-социалистической Германии. Я тоже не знал о такой планомерности и таком объеме преступлений. Одновременно стала необычайно тяжелой повседневная жизнь — и у оставшихся дома, и у военнопленных, которых теперь угоняли на чужбину, и у беженцев. Царили растерянность и молчание, скрытая злоба, а короткое время и просто оупение. Многие старались добиться у победителей каких-то преимуществ для себя. С горем соседствовала бесцеремонность. Солидарность в семье и между друзьями была чуть ли не единственным прибежищем.

Моя статья должна была помочь опомниться, чтобы с достоинством взять на себя вину, ясно понимая ее характер в каждом отдельном случае. Статья указывала и на совиновность победивших держав, не затем, чтобы снять вину с нас, а правды ради и чтобы слегка воспрепятствовать возможной самоуверенности, имеющей в политике роковые последствия для всех. Возможность опубликования такой статьи при оккупационном режиме свидетельствует о том, какую свободу предоставлял духу с самого начала этот режим. Один видный американец сказал

мне тогда, что статья адресована союзникам в такой же мере, как немцам. Я заботился о чистом воздухе, в котором мы, немцы, могли бы вернуть себе чувство собственного достоинства. Статья хотела также содействовать возможности нового союза с победителями, союза людей с людьми.

Несмотря на тогда еще скудную информацию, главные черты национал-социалистического режима с его изощренными методами, его тотальной лживостью и его преступными побуждениями были ясны каждому, кто желал это знать. Обновление немцев должно было начаться. Рассуждения этой статьи я и сегодня считаю верными — с одним существенным исключением: в своем понимании начавшегося тогда Нюрнбергского процесса я в одном решающем пункте ошибся.

Англосаксонская идея была великолепна. Нам казалось тогда, что уже забрезжило из будущего что-то такое, что изменит человеческий мир: создание мирового права и такое состояние мира, где преступления, которые ясно определены, будут неотвратимо караться общими силами крупнейших держав. Никакой политик, никакой военный, никакой функционер не сможет в будущем ссылаться на государственные соображения или на приказы. Все действия государства совершаются людьми, личностями, будь то властители или разного ранга приспешники. Раньше сваливали ответственность на государство, словно это что-то священное и сверхчеловеческое. Теперь каждый должен сам отвечать за то, что он делает. Есть преступления государства, которые всегда в то же время являются преступлениями определенных отдельных лиц. Есть необходимость и честь в приказе и повиновении, но повиноваться нельзя, если повинующийся знает, что он исполняет преступление. Присяга, связанная с государственными делами, непреложна только тогда, если она прине-

сена Конституции или солидарности общества, открыто выражающего и обосновывающего свои цели и взгляды, а не как клятва на верность лицам, занимающим политические или военные посты. Личная ответственность не прекращается нигде. Могут, конечно, возникать большие конфликты, но в действительности суть дела, когда речь идет о преступлениях, всегда проста. Она начинается с того, что я вижу возможность или уже фактическое начало преступления и все-таки участвую. Когда кричат: «Германия, проснись, еврейство издохни», «полетят головы», когда Гитлер выражает телеграммой свою солидарность с потемпскими убийцами, должна говорить совесть, даже если участие еще не есть совершение преступления действием. Но кто потом отдаст или исполнит преступный приказ, тот, по идее, должен быть судим всемирным содружеством государств. При такой угрозе мир был бы обеспечен. Человечество объединилось бы в этике, которая понятна всем. Не повторилось бы то, что пережили мы: что люди, которых собственное государство унизило, поправ их достоинство и человеческие права, вытолкнуло или убило, не нашли бы защиты у вышестоящего содружества государств. Такое не повторилось бы, чтобы свободные государства ухаживали за Гитлером, предавая немцев, чтобы они валом валили на Олимпиаду в Берлин, чтобы они на своих научных конгрессах и культурных мероприятиях принимали тех, кого позволяло принимать отстранявшее неугодных национал-социалистическое государство. Никогда не повторилось бы то, что случилось в Германии: что свободные западные государства дружно не воспротивились сначала мирными средствами преступлениям, которые совершались после 1933-го и сильно умножились после 1934 года, что они терпели их под удобным прикрытием «невмешательства во внут-

ренные дела». Когда в государстве, чей народ по культуре, традициям, европейскому мировосприятию родствен другим народам, этот народ, пусть по его собственной вине, постигает беда и он оказывается бессилён перед тоталитаризмом, его, как при стихийном бедствии, нельзя бросать на произвол судьбы, отдавать его собственным властителям-террористам.

Теперь должна была начаться новая эпоха. Был учрежден такой суд, на дальнейшее развитие которого мы возлагали надежды. Вечная человеческая тоска увидела сбывающуюся мечту. Это было очень наивно. Я принимал в этом участие, несмотря на свои годы и на долгие размышления о политике. Я осознал тогдашнюю недостаточность своего понимания и в этом пункте пересматриваю свое мнение.

В суде заседала большевистская Россия, как государство тоталитарной власти, по форме власти ничем не отличавшаяся от национал-социалистического государства. В разбирательстве участвовал, таким образом, судья, фактически вовсе не признававший права, которое должно было лечь в основу суда. Суд рассматривал не преступления, географическое место которых было известно, а только действия обвиняемых. Это самоограничение обвинения, исключавшее процесс против «неизвестного лица», избавляло от трудностей. Разбирательство ограничилось военнопленными. Действия западных держав, которые в ходе войны производили разрушения без военной необходимости, предметом разбирательства тоже не стали.

Тогда, в 1945 году, я думал об этом, но не рассуждал. Несмотря на ужас при виде абсурдного уничтожения Дрездена и Вюрцбурга, я говорил себе: действия обеих сторон нельзя, может быть, мерить одной мерой. Население, отдающее все силы на службу преступному государству, не может рассчитывать на пощаду. Если миллионы

людей из покоренных стран вывозились в Германию для рабского труда, если ежедневно шли поезда, чтобы доставить евреев к газовым камерам, если война на Западе началась с разрушения центра Роттердама и — при уничтожении Ковентри — со слов Гитлера: «Я сотру их города с лица земли», если мир видел, что ему угрожает владычество преступников, захвативших большую часть Европы, — то, может быть, нельзя и ждать от низших инстанций, что они не допустят полной безудержности. Не принципы господства свободных государств, а какие-то особые, возможно, даже и не одобряемые своими правительствами инстанции могли приступить к планомерным, с военной точки зрения ненужным разрушительным акциям, отвечая на террор германской власти террором против германского населения. Это было бы великолепно и сделало бы процесс совсем другим, всемирно-историческим событием, если бы и эти преступления предстали перед его форумом. Мне следовало тогда сразу же написать об этом.

Процесс, ведомый англосаксонской правовой мыслью, протекал сначала убедительно. Работа с обвиняемыми на первом процессе безупречна (о дальнейших нюрнбергских процессах я не говорю). Хотели правды и справедливости. Юридически преступления были определены. Судить предполагалось за эти преступления, не за моральные предосудительные действия вообще. Отсюда оправдание Шахта, фон Папена, хотя суд и выразил моральное осуждение их действий. Характерно, что русский судья не одобрил этих оправдательных приговоров в своем «особом мнении». Его слабое правовое сознание не способно было отличить юридически определенное от морального. Этот судья судил только как победитель, тогда как другие хотели самоограничения власти победителей и осуществляли его.

Но тем не менее надежда обманула. Великая идея явилась, как в прежние времена, лишь как идея, не как действительность. Процесс не сделал основой мирового уклада мировое право.

То, что этот процесс не выполнил своего обещания, имеет дурные последствия. Если тогда я писал: «Чтобы вместо благословения Нюрнберг стал, наоборот, роковым фактором, чтобы мир в конце концов пришел к заключению, что процесс был не настоящий, а показательный — этого нельзя допустить», — то сегодня я не могу отделаться от мнения, что, хоть процесс был не показательный, а даже безупречный по юридической форме, это был все-таки не настоящий процесс. Он оказался на поверку разовым процессом победивших держав против побежденных, в основе его не было общего правового уклада и общей правовой воли победивших держав. Поэтому он достиг противоположного тому, чего должен был достичь. Не было учреждено право, а было усилено недоверие к праву. Разочарование при таком величии замысла убийственно.

От такого опыта нам нельзя отмахиваться, даже если мы верны этой великой идее. Противоправные силы еще неизмеримо мощнее. Сегодня еще удастся сразу дать миру основу для спокойствия, как то предполагалось в Нюрнберге. Само это спокойствие, гарантированное законом по воле великих держав, которые сами подчиняются этому закону, нуждается в одной предпосылке. Оно не возникнет просто из таких мотивов, как безопасность и освобождение от страха. Оно должно постоянно воссоздаваться со все новым и новым риском для свободы. Длительное ощущение этого спокойствия предполагает духовно-нравственную, полную высокого достоинства жизнь. Она была бы и основой такого спокойствия, и одновременно его смыслом.

ГЕНОЦИДУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНИЯ

Беседа с Рудольфом Аугштейном

Ясперс. Ведущим этой беседы будете вы, господин Аугштейн, не так ли?

Аугштейн. Да. Господин профессор Ясперс, давайте совсем не будем касаться в нашем разговоре вопроса о юридической возможности продлить срок давности — то есть возможно ли исчислять его лишь с 1949-го, а то даже и с 1956 года и возможно ли, придавая закону обратную силу, продлить его действие при умышленном убийстве с двадцати до двадцати пяти или даже тридцати лет. Для каждого из этих вариантов есть юридические тезисы, которые противоречат друг другу.

Предлагаю также оставить в стороне вопрос о внешнеполитической и вообще политической целесообразности. Я лично полагаю, что при сложившейся ситуации срок давности надо по причинам целесообразности продлить. Но меня интересует, как смотрите вы на это с моральной точки зрения.

Ведь похоже, что процессы против нацистских преступников — это только с виду юридические, а на самом деле политические дела, которые решаются по нормам уголовного кодекса. И отсюда, наверное, часто эта беспомощность или впечатление беспомощности.

Вы сами сказали об этих военных преступлениях в другой связи: это преступления, которые были определены политической волей государства и потому не связаны с личностью отдельного преступника. Это, по-моему, выражает суть проблемы.

Ясперс. Если позволите, я бы сначала разъяснил тезис, что право и политику нельзя отделять друг от друга как две абсолютно разные области.

Везде в мире право основано на какой-то политической воле, на политической воле к самоутверждению порядка в государстве. Поэтому у права два источника: это политическая воля и идея справедливости — вечная идея справедливости, на которую претендуют, которой ни у кого нет и к которой надо приблизиться.

Когда происходят большие события, перемены в состоянии общества, тогда и заходит речь о справедливости. Вообще же всегда говорят о праве как о законном праве, которое потом непреложно.

Законное право записано в кодексе, оно имеет силу в том государстве, где создано, и в этом государстве — в свободных, так называемых правовых государствах — в силе. Право имеет силу всегда лишь в рамках порядка ныне существующего государства, которое этим порядком и утверждает себя.

Когда в истории происходит большая ломка, тогда — как, например, в XVII веке при содействии английских юристов — право создается политической волей и делается что-то, что приводит в движение, изменяет или даже рушит существовавший правопорядок.

В тот момент, когда происходит, делается, желается что-то, означающее исторический перелом, революцию, в этот момент узаконенное право перестает быть непреложным; снова встает вопрос, что должно быть в силе? Решается заново, что именно из вечной справедливости признавать правом теперь.

Так вот, мне кажется, что нацистское государство означает для немцев перелом, какого у них еще не бывало. Дальнейшая жизнь после нацистского государства предполагает духовную револю-

цию, нравственно-политическую революцию на духовной основе.

Только решившись признать, что непрерывность здесь кончилась — я сейчас не говорю обо всех непрерывностях, которые, несмотря ни на что, сохранились, — да, в решающей точке нравственно-политического сознания кончилась, мы создадим предпосылку для желательного теперь политического порядка. Только при этой предпосылке возможен сегодня, на мой взгляд, разумный политический разговор.

Аугштейн. Это мне ясно. Но давайте рассмотрим вот что. При взятии Яффы Наполеон захватил в плен три тысячи человек, то есть они сдались ему, потому что он обещал им беспрепятственный отход. Но потом он не дал им беспрепятственно отойти и не расстрелял их, а чтобы сэкономить порох и свинец, велел убить их штыками. А при большой части этих людей находились их семьи. И эти семьи, женщины и дети, были тоже убиты штыками. Однако тогда никому не пришло бы в голову возложить ответственность за эту резню на кого-то другого, кроме как на самого Наполеона. А сегодня, из-за количества и характера национал-социалистских преступлений, принято и кажется правильным отдавать под суд того, кто расстреливал женщин и детей по приказу.

Ясперс. Нет ли здесь все-таки очень существенной разницы? Наполеоновская история соответствует многим другим историям прошлого. Здесь преступление совершено государственностью, которую тогда представлял Наполеон. Но в целом эта государственность не преступна.

Решающий момент вот в чем: признаете ли вы, что нацистское государство было преступным государством, а не государством, которое совершает и преступления.

Преступное государство — это такое государство, которое в принципе не устанавливает и не признает правопорядка. То, что называется правом и создается потоком издаваемых государством законов, это для него средство успокоения и подчинения своего народа, а не что-то уважаемое и соблюдаемое самим государством. Цель такого государства — изменить самих людей насилием, которое порабощает человечество в целом, руководствуясь какими-то, по сути, отменяющими человечность представлениями о человеке. Свой принцип оно подтверждает истреблением народов, которые, по его решению, не имеют права существовать на земле.

Из главного тезиса «нацистское государство было преступным государством» следуют выводы, без уяснения которых нельзя, по-моему, решить обсуждаемых нами проблем.

Что государство было преступным, мог знать всякий в Германии. Что большинство немцев, правда, этого не уяснило себе, нельзя отрицать. Касаясь их, я во многих, не во всех, случаях не говорю ни об уголовной, ни о моральной вине, а только о политической ответственности.

Ясно видеть преступное государство преступным — это предпосылка всякой дальнейшей аргументации. Тут речь не идет о каком-то различии во мнениях. Тут борьба идет в самой основе государственно-нравственной воли. Но тут еще можно говорить друг с другом. Можно пытаться убедить: вот, посмотри, следствия, вот предпосылки твоей воли. Ты этого действительно хочешь? Это не дискуссия с помощью аргументов, это понимающее указание на смысл, лежащий в основе чисто рациональных мыслей, чувств, безумных поступков.

Еще раз повторю главный политический тезис: понимание необходимости нравственно-политической революции после 1945 года, неограничен-

ная воля прервать то, что привело к преступному государству, признание необходимости переустройства и воля к нему — все это для нас, если у нас есть будущее, предварительное условие. Тут различие может быть не во мнениях, а в убеждениях и умах. Они должны стараться говорить друг с другом. Но одними рациональными доводами они друг к другу не пробьются, возможно это только при более глубоком общении, когда человек замечает в человеке человека и осознает самого себя.

Аугштейн. Сегодня все или, скажем, все люди доброй воли видят, что государство было преступным. Тогда нужны были определенная интеллектуальная острота и интеллектуальное мужество, чтобы понять это со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ведь было достаточно много вещей, которые могли ублаживать население.

Были договоры и союзы с иностранными государствами, были Олимпийские игры, были постоянные призывы церковей вести себя лояльно и даже призывы участвовать. Было благословение оружия.

Ясперс. К сожалению, все это так и было.

Аугштейн. Тут-то мы и подходим к пункту, который у меня лично вызывает больше всего опасений.

Я спрашиваю себя, есть ли у государственности, которую мы здесь основали, законное право карать за эти преступления. Ведь нам стоит задуматься о том, что, насколько мне известно, еще ни один судья, ни один прокурор нацистских времен не стоял перед судьей по уголовным делам. Право нарушалось тысячи, сотни тысяч раз. Несмотря на это, преступники-юристы не стояли перед судом.

Дело доходит до того, что человек, который сам как прокурор виновен в посягательстве на жизнь своих сограждан, судил в качестве председателя земельного суда такого озверелого, но и немного

слабоумного преступника, как концлагерный палач Зоммер. Вот суть дела, вот проблема *in pisse*¹. И поэтому законность кары кажется мне просто сомнительной.

Если вспомнить, далее, каких, например, статс-секретарей терпело это государство в своих министерствах; если подумать, что Глобке, Виалон и Гопф годами занимали или занимают почетные посты, тогда эта законность предстанет в еще худшем свете.

Если подумать, далее, что другие государства, что и еврейские организации, что и государство Израиль сознательно помирились с этим, то и репутация таких государств и организаций предстает в двойственном свете. Не пристало государству Люксембург награждать орденом Глобке, если во время войны этот же Глобке счел, что люксембуржцы являются не люксембуржцами, а, ввиду бегства их великой герцогини, людьми в некотором роде без гражданства и вне закона.

Не пристало Нахуму Гольдману и еврейскому государству всячески защищать Глобке, потому именно, что он содействовал возмещению материального ущерба. Так лишают себя пьедестала, с которого можно предъявлять моральные требования.

Ясперс. Вы обращаете внимание на скверные, очень скверные факты. Я, как и вы, бываю удручен, когда узнаю и представляю себе такие вещи.

Я ничего не смягчаю, но прежде всякой критики, которую я хочу предать гласности, постоянно ссылаясь на факты, чтобы эти факты не забывались народом, мне хотелось бы выдвинуть один тезис: предварительное условие всякой нашей критики — существование Федеративной республики. До всякой критики мы должны ответить

¹ Вкратце (*лат.*).

себе на вопрос: хотим мы этого государства или мы его не хотим? Если не хотим, то вывод один: надо готовить революцию, государственную измену. Если хотим, то мы должны делать все, что можем, чтобы улучшить его. А для этого нужно не только указывать на уйму плохого в частностях и пока даже в некоторых главных основах, но и замечать, выделять и поощрять хорошее.

Аупштейн. Если мне позволено вернуться к сказанному вами раньше — что наше государство должно начать заново и как бы сломать мосты к преступному государству, — то это подводит нас еще к одному аргументу, который выдвигают противники продления срока давности.

Говорят, например: не годится, чтобы наказывали одних только немцев, и притом наказывали до седьмого колена. Видным выразителем такого взгляда был бывший федеральный министр Штраус, который сказал, что это «подрыв правосознания человечества и фальсификация истории, ибо служит свидетельством, будто одни немцы совершали военные преступления».

Я думаю все-таки, что в этом аргументе, несомненно отражающем распространенное в Германии, хотя, может быть, и нежелательное для нас мнение, — что в этом аргументе следует разобраться.

Ясперс. Аргумент этот не был бы нежелателен, если бы он был верен. Но он не замечает коренного различия между военными преступлениями и преступлениями против человечества. Военные преступления — это преступления против человечности. Преступления против человечности — к сожалению, эта разница так ясна только в немецком языке¹, различающем человечность и человечество, — преступления против человечности —

¹ В русском она не менее ясна. *Прим. переводчика.*

это все мерзости, что именуются военными преступлениями и совершены в отношении врага. Преступление же против человечества — это притязание решать, какие группы людей и народы вправе или не вправе жить на земле, и осуществлять это притязание путем истребления. Сегодня это называют геноцидом.

Геноцид означает в принципе исполнение приговора, вынесенного другой группе людей, народу, который не должен жить на земле. Кто притязает на такой приговор и исполняет его, тот преступник перед человечеством. Такие действия совершались против евреев, цыган, душевнобольных. Все, кто это понял (первой — Ханна Арендт), заявляют сегодня с ясным теперь сознанием: никто не имеет права решать, что какая-то группа народов существовать не должна. Кто на основании такого приговора осуществляет истребление народов через какую-то организацию и в этом участвует, делает нечто принципиально отличное от всех преступлений, какие совершались доселе. Он действует против принципа, который заключен в принадлежности к роду человеческому как в таковой, в признании человека человеком. И поскольку он это делает, о нем можно сказать: с людьми, совершающими такое, человечество в свою очередь жить вместе не может.

Иными словами, если в отдельных государствах прокурор в общественных интересах преследует убийцу и тогда, когда родственники убитого не подают жалобы, то так же точно должна заявить о себе какая-то инстанция человечества, когда одна группа людей истребляет другую. В общественных интересах человечества люди, которые это делают или делали, и только такие люди, должны быть наказаны смертью.

Противники смертной казни могут привести много доводов в свою пользу. Сторонники —

тоже. Но и противники смертной казни могут, мне кажется, при этом преступлении, находящемся в сфере совершенно других измерений, одобрить смертную казнь.

Аугштейн. К сожалению, в истории человечества геноцид совершался не раз, хотя не в таких размерах и не по такому последовательному плану. Если сообщения верны, то китайцы истребляют тибетцев.

Ясперс. В том, что это преступление в его беспримерном смысле совершалось уже не раз, я сомневаюсь. Я не знаю ни одного примера. Возможно, что это происходит в Тибете. Я этого не знаю. Но понимание того, что речь здесь идет о преступлении принципиально новом, я считаю предварительным условием решения вопроса о сроке давности. Этот вопрос получит само собой разумеющийся тогда ответ, если будет ясность по четырем тесно связанным друг с другом вопросам.

Первый вопрос: что за преступление? Административное массовое убийство, новое преступление, не имеющее примера в истории. Это преступление предполагает новый тип государства, преступное государство.

Второй вопрос: по какому закону судить? По закону, соединяющему всех людей, — по международному праву.

Третий вопрос: где легитимная инстанция для применения этого права? Пока для этого не учреждена инстанция всего человечества, инстанциями являются суды государств, руководствующихся международным правом в собственной юрисдикции.

Четвертый вопрос: какое наказание? Беспримерному преступлению против человечества соответствует смертная казнь, для этого исключения после ее отмены и восстановленная.

Эти вопросы по сей день не выяснены окончательно. Мы сплошь да рядом подходим к ним еще с понятиями прежнего мира.

Но возвращаюсь к нашей реальной ситуации. Вы хотели, господин Аугштейн, выделить для нашего обсуждения вопроса о сроке давности внешнюю политику. Вы, как и я, считаете, что действовать по оппортунистическим мотивам было бы в этом случае чрезвычайно пагубно. Не будем поэтому обсуждать оппортунистические аргументы.

Но именуемое внешней политикой имеет и другую сторону. Принадлежа к роду человеческого, нельзя не считаться с тем, что всерьез полагают люди на свете.

Еще Аристотель говорил, что консенсус народов не безразличен, и не потому, что он как таковой уже прав, считаться с ним надо потому, что он может подвести к соединяющей нас правде.

Видя сегодня, как единодушен в этом пункте весь западный мир, мы должны спросить: как пришли к этому люди? Что послужило причиной? Вероятно, сознание той беспримерности преступления против человечества, о которой мы говорили.

А теперь есть два заявления авторитетных инстанций — кажется, от декабря прошлого года и январское. Во Франции французское Национальное собрание постановило, что для преступлений этого характера, именно из-за их характера, срока давности не существует вообще...

Аугштейн. ...и амнистировало ужасы алжирской войны...

Ясперс. Конечно, тут есть о чем задуматься. Но тут речь как раз не идет о преступлениях против человечества.

Далее. Консультативная ассамблея Европейского совета рекомендовала правительствам постановить, что для этих преступлений срока дав-

ности нет. Обе инстанции высказались явно ввиду происходящего в Федеративной республике. Эти заявления выражают то, что думает почти весь западный мир.

Аугштейн. Господин профессор Ясперс, ваша аргументация устанавливает, мне кажется, одно важное различие. Человек типа Штрауса, например, говорит: «То, что случилось при выселении немцев из Польши, Чехии и с юго-восточных территорий, должно быть по меньшей мере известно мировой совести и мировому сознанию». Если я верно вас понимаю, то, по-вашему, это качественно не одно и то же, истребляется ли какая-то раса, какой-то народ, оспаривается ли само их право на жизнь или же в череде чудовищных преступлений, порожденных несправедливой войной, людей выдворяют и, может быть, даже таким образом, что многие погибают, а многих и убивают. Это все-таки не то же самое, что ясно направленное намерение истребить целые группы народов. Я понял вас правильно?

Ясперс. Вполне.

Аугштейн. Однако говорят: ну, хорошо, национал-социалисты совершали эти преступления, мы отчасти причастны к ним.

Но как быть с Советами? Разве Советы тоже не присвоили себе право уничтожить целые народности или переселять их при условиях, равнозначных уничтожению?

Ясперс. Проверить это и судить об этом надо, разумеется, с той же точки зрения. Было ли это на самом деле так, я не знаю. Не исключаю, что было.

Но для суждения, которое мы должны вынести о том, что касается нас, это не важно. «Другие тоже» — это не оправдание. Если «другие тоже», то и о них нужно судить по тем же меркам. Это ведь примерно так же, как если бы какой-нибудь политик солгал, а потом сказал: но ведь и другие

лгут тоже. Я же не могу отнестись к своему поступку менее серьезно, а тем более оправдать его, потому что так поступает другой. Дискуссии о том, как поступали другие, для нас, по-моему, сейчас не актуальны. Мы ведем сейчас процесс не с другими государствами, а с самими собой. Мы хотим самоочищения.

Я считаю убедительным, что такие ужасные вещи, как Дрезден, как «ковровые» бомбежки вообще, практиковавшиеся англичанами...

Аугштейн. ...Хиросима...

Ясперс. ...Хиросима, — что эти вещи лежат в иной плоскости, чем преступление геноцид. Если учесть, что в Дрездене было много английских военнопленных, что англичане не смотрели на то, кто там был, то речь тут идет о чем-то, что я — не будем сейчас говорить об этом, потому что это имеет совершенно другие причины, — нахожу ужасным; но это акт против человечности, а не преступление против человечества. Принцип тут другой. Вряд ли стоит мне повторять это.

Аугштейн. Нет. Если представим себе все зверства, все акты террора, совершавшиеся по приказу Сталина, то ведь он никогда не заявлял, что хочет истребить целую группу людей. Он не издавал декрета, по которому все литовцы должны умереть, но он, может быть, переселял их элиту в такие места, где очень многие из них погибли, так что можно говорить чуть ли не об истреблении. Во всяком случае, я сказал бы, что совершенное им в Катини, где он расстрелял польский офицерский корпус, уже очень близко к тем преступлениям, о которых мы сейчас говорим.

Ясперс. Можно мне, господин Аугштейн, предложить оставить эту проблему, которая представляет собой новую проблему и нас непосредственно не касается, проблему Катини? От Сталина можно

всего ожидать. Возможно, тут есть что-то тождественное преступлениям против человечества. Но это не относится к нашей проблеме, к сегодняшней проблеме срока давности в Федеративной республике.

Аугштейн. Может быть, и не относится. Но поскольку многие противники продления срока давности на это напирают и такой напор перед выборами, увы, можно не сомневаться, усилится, я считаю очень важным, чтобы вы высказались и на этот счет.

Ясперс. Сейчас нам предстоит парламентское слушание по проблеме срока давности. Признаюсь, что смотрю на это событие с большими ожиданиями и не меньшим опасением. При этом мне, в сущности, не столь уж и важно, так или этак будет решено дело. Это звучит странно, но я думаю, как и вы: если из оппортунизма — сначала громко и гордо заявив: нам самим решать, это касается только нас, мы не поддадимся нажиму, — если теперь из оппортунизма немцы согласятся с другими, то мы родим только новую ложь, которая ни к чему хорошему не приведет.

Гораздо важнее, чтобы в этом парламенте нашлись мужчины и женщины, способные так выразить самую суть данной проблемы, так раскрыть ее всему населению, чтобы возникло всеобщее морально-политическое сознание: да, само собой разумеется, для преступлений этого рода, которые нам стали теперь ясны, срока давности не может существовать.

Продление срока давности на десять лет, всякие уловки, чтобы сдвинуть точку отсчета, — это увиливание. Решение тут может быть только одно: срока давности не существует вообще. Все прочее затушевывает проблему.

На этом большом парламентском заседании выступят, я надеюсь, политики, в которых немцы снова узнают себя. Благодаря своей духовной силе они увидят и смогут сказать, что́ лежит на весах. Они покажут всю серьезность вопроса тоном своей речи, своим словом, без всякой патетики и декламации. Они убедительно докажут, что мы живем в государстве, находящемся в процессе становления и сознающем свою новизну после катастрофы 1933—1945 годов. Тогда оппортунизм, страх перед границей бесследно исчезнут, и естественная, человеческая, простая совесть немцев ответит им: да, конечно, само собой разумеется.

Парламент — последняя надежда. Когда-то в 1933 году мы говорили: не может же быть, чтобы нами правил преступник! Теперь мы говорим: не может же быть, чтобы нами правила назначенная партийными бюрократиями группа карьеристов, для которых политика — профессия и такое же деловое предприятие, как любое другое!

Немецкий народ смотрит на свой парламент: это его парламент или нет?

Для просто профессионального политика — это материально несущественное, из-за словопреений лишь немного докучливое дело. Для думающего немца — это манифестация идеологической основы его государства.

Сейчас нам ничто не грозит. Америка защищает нас от внешней опасности и от внутренней (от путчей, при которых она, по генеральному договору, благодаря счастливому ограничению нашего суверенитета, имеет право вмешаться). Поэтому в Бонне и не возникает настоящего сознания ответственности. Речь никогда не идет о жизни и смерти, а слишком, кажется, часто о производстве, выгодах, карьере.

Что в конце концов речь все-таки пойдет о жизни и смерти, причем для всех, этого уяснить не

могут. Сегодня никто не знает, когда и как наступит такой момент.

Есть признаки, что парламентарии начинают относиться к этому вопросу серьезно. Различие во мнениях — это не различие партий, оно проходит через обе партии, и через ХДС, и через СПГ. Каждый в отдельности думает своим умом, не как член партии, а как представитель народа.

Гамбургский бургомистр Неверман сказал в февралю на заседании бундестага: дебаты о сроке давности для убийства стали невыносимы, особенно из-за аргументов федерального министра юстиции. Да, конечно. Бургомистр безусловно прав.

Люди, вероятно, говорят: «Эмоционально». После слов Невермана премьер-министр Майерс призвал «не оперировать чувствами как доводами».

Конечно, слепые чувства, бездумные эмоции ничего не стоят. Но без страсти при ясном рассудке невозможна никакая человеческая правда. Просветленная, преобразившаяся в понятия эмоция в вопросе о сроке давности бродит сегодня по Европе. Такие немцы, как Неверман, причастны к этому. Они думают яснее, чем многие из тех, кто неприятный им способ думать клеймит как эмоциональный, хотя сами при кажущейся объективности руководствуются нередко своими личными антипатиями, страхами, желаниями, то есть скверными эмоциями, на которые они закрывают глаза. Но доказать это в отдельном случае почти невозможно.

Рациональная абстрактность и целесообразность, именуемая со времен греков софистикой, — это тайный и смертельный враг правды. И вместе с вами задаваясь теперь вопросом, находятся ли на высоте положения наши федеральные политики и руководящие деятели, я с грустью вижу, что нынешний министр юстиции Бухер, чье дело прежде всего — представлять дух права нашего го-

сударства, явно не справляется с этой задачей. Вообще-то он, может быть, человек превосходный, но здесь, где ему надлежит быть примером для Федеративной республики и выражением ее мнения, он оказывается слепым, он не видит того, о чем идет речь. Можно высказаться по этому поводу?

Аугштейн. Пожалуйста, конечно.

Ясперс. Бухер ссылается как на последнюю инстанцию на юридическое соображение, а именно: возможно ли юридически, на основании действующего уголовного кодекса и конституции, отменить срок давности. Это всего лишь соображение, ибо специалисты держатся разных мнений. Прекрасное заключение, составленное вашим гамбургским профессором уголовного права и криминалистом Зиверсом вместе со всем его семинаром, — среди подписавших и Гербит Егер, уже много сделавший для решения разбираемых нами главных вопросов, — заключение Зиверса приводит к противоположному — имея в виду Бухера — выводу. Это ясно показывает, что тут могут быть разные мнения. Возможность разных мнений означает, что научного решения вопроса, решения, на котором сошлись бы все специалисты, пока еще нет.

Бухер превращает вопрос, допускающий разные мнения, и свой ответ на него в некую догму, в некое убеждение. Поэтому он доходит до заявления, что правовое государство в опасности, хотя речь может идти только о различии мнений. Он грозит, что уйдет со своего министерского поста, если кабинет его не поддержит.

Аугштейн. Министр юстиции лишь представляет в данном случае политическую позицию кабинета: министр Кроне, например, говорит, что «может быть, правильное было бы подвести черту подо всем». Бухер только аргументирует иначе, когда за-

являет: «Формализма в области права не существует. Право само по себе есть форма».

Ясперс. Это рационалистический догматизм, который некогда, в XIX веке, к сожалению, слился с либерализмом и с демократическими убеждениями. Тогда в таких людях, как Ойген Рихтер и другие, проявилось мышление, абсолютизирующее рациональность и делающее из нее самой мировоззрение, — мышление, не менее нетерпимое, чем какая-нибудь церковная категоричность, и, хоть оно и называется либерализмом, ничего общего с либеральностью не имеющее.

В Бухере я узнаю этот старый тип мышления. К тому же я вижу, что Бухер заявляет: все только в нашей компетенции. Нас не собьют с толку демонстрации в Вашингтоне и Тель-Авиве. Мы не поддадимся еврейскому или израильскому нажиму. Это спесивые фразы, которые потом, когда из-за оппортунизма срок давности будет продлен, только умножат ложь.

Сказать он должен был бы, напротив: во всем мире возникает некое мнение, которое явно больше, чем просто мнение, некий основополагающий взгляд на нашу принадлежность к роду человеческому, взгляд настолько серьезный, что мне нужно проверить его совсем по-другому. Мне нужно уяснить себе его смысл.

Вместо этого — доктринерское, юридически-рационалистическое мышление и национальная спесь. Не хочу продолжать. Уровень сделанных им заявлений так низок, что чувствуешь: этот министр юстиции даже и не подозревает о той великой ситуации, в какой находится наша правовая жизнь на переломе эпох, при создании нового государства. Поэтому нечего ждать, что министр юстиции представит Германию на этом заседании парламента. Надо надеяться, что это сделают другие. А решение,

которое там примут, я считаю событием, имеющим для нашего, граждан Федеративной республики, внутреннего состояния величайшие последствия. По тому, как, в каком духе и с какой ясностью языка это произойдет, можно судить о нашей сегодняшней политической сущности.

Если здесь устроят неразбериху, начнут замывать правду, если серьезность, при которой парламент только и представляет народ, не будет здесь проявлена в деле материально несущественном и безразличном (ведь не играет же роли, будут ли разгуливать на свободе еще несколько убийц), но имеющем величайшее нравственно-политическое значение; если не выявится со всей ясностью, что немцы — это мужчины и женщины, которые после всех учиненных или пережитых ими ужасных бед действительно хотят основать новую государственность, тогда впору впасть в отчаяние.

Мы не впадем в отчаяние; ведь шанс все-таки еще есть. Это множество безмолвствующих по всей стране. В отличие от большинства парламентских заседаний, где решаются лишь материальные дела, я считаю данное заседание чем-то таким, что в ходе этих десятилетий действительно симптоматическим образом решит что-то огромное по последствиям.

Мы принадлежим к западному миру. Несмотря на все, против чего можно выступать в этом мире, совесть существует.

Если мы не вольемся в эту гармонию, которая сегодня доносится из Америки через европейские страны, мы снова изолируем себя морально. При всей взаимной вежливости дипломатов и политиков, при всей вежливости в общении отдельных лиц волна презрения к нам поднимется снова.

Макс Вебер писал в письмах примерно 1908 года или даже еще немного раньше: то, что нами правит этот человек, кайзер, и то, что мы народ,

который мирится с таким правлением такого человека — Макс Вебер был монархист, — это прямо-таки первоклассный политический фокус. Ведь в мире нас презирают, и что хуже всего — по праву. Если вспомнить, что мы не раз делали неприемлемыми для мира, а через несколько лет — удивительное дело после такой скверной поры полного к нам презрения! — стали опять, так сказать, приемлемы в мире, то какое-нибудь непонятное для мира событие может с этим положением снова покончить.

С нами будут вежливы, как с негритянскими государствами, но какое отношение будет таиться за этим — о том, господин Аугштейн, вы знаете, наверно, больше, чем я. На этом заседании бундестага произойдет что-то, после чего должно стать ясно, кто мы такие. Понимаете, что я имею в виду?

Аугштейн. Надеюсь, что понимаю. Не стану также защищать от вас министра Бухера. Думаю, что многие его заявления были, мягко говоря, не на высоте проблемы.

С другой стороны, полагаю, что у нас должна быть ясность: бундестаг до такой степени разучился думать в категориях морали, что нельзя упрекать в этом какое-то отдельное лицо, в том числе и федерального министра юстиции.

Если вы допускаете, что кабинет не осмелится дать что-то другое, кроме двусмысленной рекомендации, если вы допускаете, что федеральный канцлер должен будет высказаться по этому вопросу как бы в частном порядке, то вот и ответ на ваши опасения. Они действительно не напрасны.

Произойдет, по-моему, вот что. Мы с грехом пополам продлим срок давности по той единственной причине, что из-за своих неудачных действий мы повсюду потеряли лицо на Ближнем Вос-

токе. Вот в конечном счете причина, по которой будет продлен срок давности.

Но позволю себе прибавить еще кое-что, тоже, на мой взгляд, важное.

Признавая верность и убедительность всего, что вы сказали, надо тем не менее спросить себя: не отнимает ли продление срока давности чего-то у обвиняемого, не ущемляет ли оно в чем-то его права? Я сейчас говорю не о юридической стороне дела. Я не говорю, что тот (о чем тоже можно было бы дискутировать), что тот, стало быть, кто убивал, имеет право на неподсудность по истечении двадцати лет. Сейчас, во всяком случае, не будем, с вашего позволения, дискутировать об этом.

Я говорю о другом, вот о чем: не может ли так быть, что общество, чтобы освободиться от своих преступлений, что общество это выхватывает отдельных людей, лишь в оттенках провинившихся больше других, и отправляет их, выражаясь на древний лад, козлами отпущения в пустыню.

Посмотрите: какой-нибудь статс-секретарь министерства путей сообщения, от которого требовали вагонов, а вагоны эти предназначались для подвоза евреев к газовым камерам — разве этот человек виновнее, чем большинство народа? Нельзя ли его заменить любым?

Он случайно получил задание и случайно, как, вероятно, и всякий другой чиновник, выполнил его, правда, как помощник в этой административной резне, в массовых аппаратных убийствах. В Мюнхене сейчас идет суд над четырнадцатью медицинскими сестрами, их обвиняют в убийстве, потому что они делали пациентам назначенные врачами уколы — по программе эвтаназии; это были смертельные инъекции.

Так вот, я спрашиваю себя: не поступаем ли мы в этом деле несправедливо с кем-то в отдельности, чтобы снять вину с самих себя?

Ясперс. Этот вопрос правомерен. И в принципе-то дать на него общий ответ легко, а именно: каждый может быть обвинен и осужден как индивидуум, а не в силу принадлежности к какой-то организации... Всегда нужно действительно смотреть так: что этот человек совершил? Различие участия в убийствах чрезвычайно велико; как и различие знания.

Хотя сейчас очень многие лгут, чтобы выкрутиться: они, мол, ничего не знали, есть, несомненно, люди, которые по-настоящему не знали, но смутно чувствовали: тут происходит что-то ужасное.

Я вспоминаю одну очень старую, восьмидесятилетнюю еврейку из Гейдельберга, подлежащую депортации и до отправки имевшую в своем распоряжении несколько дней; она покончила с собой. Пришел гестаповец, который приходил каждый день, и, увидев ее мертвой, в неподдельном волнении подошел к окну и сказал: «Мы же этого не знали».

Насчет этого гестаповца я твердо убежден, что он не был в курсе дела, по крайней мере тогда, в 1941 году.

Конечно, каждый чувствовал, что тут что-то неладно, и знал, что речь идет о жизни и смерти... Я сам узнал о масштабах планомерного уничтожения людей в газовых камерах только после 1945 года.

Аугштейн. Я тоже.

Ясперс. Вы тоже. Конечно, между «знать» и «не знать» есть разница. Конкретно, относительно каждого отдельного лица, это очень трудно установить. Трудно разобраться в каждом отдельном случае.

Но если люди подчинялись государственному аппарату и знали, что происходит, то санкция государства на их поступки не является для них

смягчением их вины; ибо это было преступное государство. В понимании этого люди расходятся. От каждого, у кого есть совесть, можно было ждать того минимума совести, который сделает его способным видеть преступление и при такой подчиненности. Конечно, мы, бессильные, хитрили с этими людьми и лгали им и тем, кто служил им, потому что у них была власть, мы опасались их, как диких зверей. Но видеть и признавать в них возможность человечности мы не переставали.

Каждый знал: это преступление. Что само это государство — преступное государство, это должно было открыться ему в тот миг, когда оно отдало ему приказ совершить преступление. И в будущем международное законодательство должно быть таким, чтобы впредь каждый знал: коль скоро я при такой государственности участвую в убийствах и в организации убийств, я могу быть уверен, что если эта государственность не завоюет мир и не уничтожит человечество, то я буду убит.

Ссылки на то, что кто-то действовал по поручению государства, оправданием считать нельзя. Он — пособник и соучастник преступного государства.

Но опять-таки вы правы, когда говорите, что характер пособничества все же различен. Это ведь нельзя привести к одному знаменателю. Я сделал бы первым такое разграничение, сегодня особенно важное: убийцы-садисты, так сказать, погрешили ведь даже против того приказа, который отдал сам Гитлер.

Аугштейн. Это совсем простая проблема.

Ясперс. Да, только вряд ли кого-либо за это наказывали. Однако различить это довольно просто.

Но это лишь малая часть. Все прочее так или иначе подпадает под то, что называется высшей властью или необходимостью подчиняться прика-

зу. Оба эти понятия, по-моему, нельзя признавать оправданиями. «Высшую власть» потому, что государство-то было преступное. «Необходимость подчиняться приказу» потому, что означала эта необходимость, когда речь шла об убийстве, подвергнуть риску свою карьеру, подвергнуть себя риску испытать какие-то неудобства. Могли отправить на фронт... Но неизвестно ни одного случая, чтобы кто-то, кто отказался убивать или участвовать в убийствах, чтобы человек, сказавший: «Я этого делать не стану. Дайте мне другой пост», должен был опасаться за свою жизнь.

Аугштейн. Ну, опасаться за свою жизнь он мог, пожалуй, постольку, поскольку его отправили бы на фронт. Для многих это было, конечно, причиной. Вернемся к нашему воображаемому статс-секретарю министерства путей сообщения. Если бы тот сказал: «Нет, я не дам этих поездов, ищите себе другого статс-секретаря», его призвали бы в армию и послали на фронт. Скорее всего, с ним так бы и поступили.

Ясперс. Можно мне рассказать по этому поводу одну историю? Одного из моих друзей, отказавшегося в 1934 году присягнуть Гитлеру и уволенного с государственной службы, офицера запаса после первой мировой войны, должны были призвать снова. Он явился, напал, к своему счастью, на разумного, лично ему незнакомого офицера и попросил призвать его не как офицера, а как просто-го солдата. Он, мол, не хочет уходить от общей судьбы немцев, но не может решиться издавать приказы. Он не был призван, никто его больше не беспокоил, и никаким преследованиям до конца войны он не подвергался.

Аугштейн. Продолжу. Чем отличается наш воображаемый статс-секретарь от командующего группой армий и фельдмаршала, который закрывает

глаза, когда у него в тылу полицейские и эсэсовские подразделения расстреливают евреев?

Ясперс. Очень трудный вопрос, господин Аугштейн. Нужно, не правда ли, установить правовые разграничения, которых сегодня еще недостает.

Аугштейн. Мы сталкиваемся с одной примечательной вещью: чем больше был человек национал-социалистом и чем он был, как национал-социалист, глупее и ограниченнее, тем больше у него сегодня оснований для оправдания. В его пользу словно бы засчитывается — такие приговоры, и даже, кажется, высшими судами, уже выносятся, — в его пользу словно бы засчитывается то, что он верил приказам и лозунгам фюрера.

Ясперс. Возмутительно, господин Аугштейн. Этот аргумент — не что иное, как форма половинчатого подтверждения национального величия 1933 года. Называть такую веру верой имеет смысл с психологической точки зрения. Где психология кончается, то есть где человека принимают всерьез, там нет национал-социалистической веры, а есть моральная неразборчивость или порочность.

Аугштейн. Есть постановления, в том числе утвержденные высшими судами, где говорится, что тот или иной судья был ослеплен национал-социалистическим учением и тогдашним правосознанием — и по этой причине дознание прекращают. Говорят, что он, мол, не распознал нарушения закона — а это было нарушение закона, — будучи ослеплен национал-социалистическим мировоззрением.

Ясперс. Прошу вас, относитесь к этому с таким же неуважением, как и я. В тридцать третьем году ходила такая шутка. Есть три качества: умный, порядочный, национал-социалистический. Сочетаться могут только два из них, все три — никогда. Либо

умен и порядочен, но тогда не национал-социалист. Либо умен и национал-социалист, но тогда не порядочен. Либо порядочен и национал-социалист, то тогда не умен, а слабоумен.

Это не просто шутка, тут затрагивается вопрос о совести. Если я не объявляю людей, так сказать, умственно невменяемыми и не делаю отсюда вывод, что они не годятся для большинства профессий, если я действительно не отношусь к ним, как к идиотам, тогда я не вправе усматривать в их плохой осведомленности и в их так называемой вере смягчающее обстоятельство. Это не та вера, которая заслуживает терпимости, когда превращается в действия.

Аугштейн. Мне кажется, что Федеративная республика не придавала и все еще не придает веса моральным законам, что точку может поставить только необычное моральное усилие.

Поясню это примером. У нас в Мюнхене есть Федеральный суд по патентным делам; там был председателем судебной коллегии некий Ганзер. В так называемом генерал-губернаторстве¹ этот человек отменил оправдательный приговор, вынесенный женщине, которая укрывала у себя и спасла полуторагодовалого еврейского ребенка. Ребенка отправили в газовую камеру; укрывшую его женщину приговорили к смертной казни из-за вмешательства этого человека, который отменил приговор, вынесенный, видит Бог, не слишком чувствительным чрезвычайным судом.

То, что до 31 января нынешнего года этот человек был председателем судебной коллегии Федерального суда по патентным делам в Мюнхене, что он, вероятно, будет получать полную пенсию, — это доказывает мне, что мы пребываем в зоне

¹ То есть в Польше. — *Прим. переводчика.*

нравственной темноты, покончить с которой может только какой-то очистительный акт, в последний час, так сказать, возможно, уже с опозданием.

Ясперс. Господин Аугштейн! Я могу только с таким же внутренним отвращением согласиться с вами, что подобных диких случаев, о которых мы знаем отчасти благодаря вам, великое множество.

Аугштейн. Благодаря другим тоже, не только благодаря нам!

Ясперс. Но вы согласитесь и со мной, что при всей многочисленности таких случаев в Германии есть также — их не перечесть — безупречные судьи. Есть приговоры, по которым эти убийцы обречены на пожизненную тюрьму.

В Германии много молодежи. Разговоры с молодыми людьми, с некоторыми по крайней мере, дают мне большую надежду. Отчаиваться, по моему, просто непозволительно. Пока мы живем, мы надеемся.

Вы еще будете делать «Шпигель», а мне еще хочется время от времени, как это ни маловажно, высказываться. Отчаяться — значило бы признать, что мы живем в эпоху, когда человечество, по всей вероятности, погибнет, или что Германия как духовно-нравственная сила навеки потеряна.

Считать то, что говорит рассудок, окончательной истиной не позволено. Позволено и положено мерить вещи мерилom таких горизонтов, о которых я сейчас распространяться не стану. Какую роль играет сегодня в мировой истории Федеративная Республика Германия? Какие у нее возможности и обязанности? Как выглядят вещи на фоне этого далекого горизонта? Кем можем мы быть, если мы не хотим быть малым остатком опустившегося населения, потребляемого историей как масса способных работников промыш-

ленности, способных менеджеров, способных военных и способных ученых, что само по себе еще ничто.

Если мы действительно хотим быть еще чем-то, что подобало бы нашему тысячелетнему прошлому, то мы должны судить о том, что мы делаем, по меркам этого далекого горизонта и, судя именно так, видеть и поощрять все, что направлено у нас к добру.

Совсем не мало людей, надо надеяться, — хотя я-то знаю немногих — идет добрым путем, и они выпадают в уныние из-за того, что это умонастроение не укореняется в сфере общественной.

А к общественной сфере принадлежат, конечно, не только парламент и правительство, не только структура Федеративной республики — о ней мы сегодня вообще не говорим; это большая тема, о которой я часто думаю: как эта структура сложилась, что она в сущности представляет собой и что нужно было бы сделать, — все это нужно пока отбросить и выдвинуть на первый план принцип: где есть люди, которые хотят, чтобы наше существование имело какой-то вес, было как-то связано с сутью вещей, а не было чем-то поверхностным и ничтожным, там эти люди должны постараться думать сообща, действовать сообща. Сегодня кажется, что они исчезают, потому что один изолирован от другого.

Но не буду распространяться на эту тему. В связи со сроком давности хочу указать еще на одно обстоятельство. Ситуация, по-моему, такова, что мы еще в принципе недостаточно разобрались в понятии самого преступления, геноцида, не ввели это понятие в судейское сознание в достаточной мере.

Вынести решение немецких судей этим судьям так трудно еще потому, что от них требуется правотворчество. Великие судьи, о которых я упоми-

нал, судьи Англии XVII века, были такими творцами права.

Аугштейн. В Англии это немного легче еще и потому, что там нет кодифицированного, утвержденного права, там решения опираются на прецеденты — и по сей день.

Ясперс. И немецкие судьи могли бы опираться на статью конституции, где ясно сказано, что нормы международного права имеют приоритет перед законами Федеративной республики. То есть, короче говоря, международное право выше национального права.

Аугштейн. Вы имеете в виду 25-ю статью Конституции; она устанавливает, что международное право есть составная часть федерального права. Она говорит также, что международное право имеет приоритет перед федеральным. Но столь же ясно и статья 103, пункт 2, говорит: «Преступление может быть наказано лишь в том случае, если его наказуемость была установлена законом до его совершения». Обратное действие закона, стало быть, недвусмысленно исключается.

Ясперс. Это вопрос большой. Я думаю скорее так: обратное действие исключается по статье 103 только тогда, когда речь идет о преступлениях, совершенных при нынешнем, новом конституционном строе. Но в отношении действий, совершенных в предшествующем преступном государстве, обратная сила возможна, даже нужна. Обратная сила противоправна лишь внутри какого-то целостного уклада и в применении к действиям, совершенным при нем. Там она создавала бы неуверенность и противоречила бы правовому государству.

Опять то же самое: от понимания возрождения и создания правового государства после государства преступного зависит суждение о поле и гра-

ницах обратного действия закона, а тем самым и ответ на вопрос о сроке давности.

Новое право было впервые создано как международное право Нюрнбергским уставом. Нюрнбергский устав — это предпосылка нюрнбергских приговоров. Это не установленное прежде, а установленное заново право, имеющее обратную силу.

И при революционных переворотах, какого бы они ни были рода, это, как я уже говорил, не только законно, но и необходимо. Абсолютно исключать обратную силу — это все равно, что включать нацистское государство в мировой правопорядок.

Аугштейн. Но почему вы хотите этого, господин Ясперс? Ведь действующего закона и права вполне достаточно, чтобы — если вообще можно еще выяснить и установить факты — вынести приговор.

Ясперс. Мне кажется, отнюдь не достаточно. У меня такое впечатление, будто преступления совершенно нового рода, что-то вроде вонючего потока лавы, хотят ввести в красивые каналы культурного ландшафта традиционного права.

Аугштейн. То, что вы говорите, соприкасается с тем, что говорит наверняка почитаемая и ценимая вами Ханна Арендт. В присланном нам письме она, независимо от вас, тоже пришла к мнению, что надо создать новые законы, имеющие обратное действие, по которым можно было бы выносить приговоры по этим делам. Это смелая мысль, которая меня сейчас немного обескураживает, но...

Ясперс. Мне не кажется это смелым, а кажется само собой разумеющимся. Это с самого начала создало бы ту полную ясность, которой мы сейчас добиваемся. Израиль принял такой закон, имеющий обратное действие, в 1950 году.

Аугштейн. То, что сделано в Нюрнберге, отнюдь не образец. В Нюрнбергском процессе много непри-

ятного, такого, что, по-моему, никак нельзя положить в основу нового правопорядка.

Ясперс. Господин Аугштейн, поймите, это, конечно, не образец. Да и можно ли в такой момент ждать, что господь Бог спустится с неба и сам все великолепно устроит?

Если вас интересует мое отношение к Нюрнбергу, то в конце 1946 года я написал статью по поводу виновности, но откликов было очень мало.

Аугштейн. Я так не считаю. Я был тогда молодым редактором; мы прочли это с большим интересом.

Ясперс. Но тоже не выступили публично. В своей статье я стал на сторону нюрнбергских судей и их устава. И недавно я снова напечатал ее в издательстве «Дойчер Ташенбух Ферлаг», в сборнике своих политических статей 1945—1962 годов. Я написал новое предисловие. К прежним своим рассуждениям о Нюрнбергском процессе я прибавил кое-что совпадающее с вашими мыслями — о том, какое разочарование уже вскоре связалось с ним. Но не это кажется мне главным. Главное в том, что был момент, когда требовалось создать право, имеющее обратную силу. И они тогда — хорошо ли, плохо ли — сделали это как могли.

Уже упоминалось, что израильтяне издали свой закон в 1950 году. Отменив смертную казнь, они сделали исключение для участников массового убийства. Такой закон мы тоже могли бы издать. Мы не издали его.

Мы могли бы издать такой закон с самого начала, чтобы полностью отмежеваться от названного преступления. Это было бы непросто. Надо было бы взвесить все различия, все градации, все смягчающие обстоятельства, когда человек, собственно, не содействовал преступлению, но и не выступал против него. Это и сегодня задача очень трудная.

Но вот что я хотел сказать. Сегодня к судьям в Германии предъявляют, говорят, слишком большие требования. По-моему, так и надо, чтобы к тебе предъявляли слишком большие требования. К человеку нельзя не предъявлять слишком больших требований. А то не претворится в действительность лучшее, на что он способен.

К судьям предъявляются слишком большие требования: мол, сделать то, что они должны сделать, они могут, только обладая правотворческими задатками. А при этих задатках, если таковые у них есть, они могут опираться на уже цитированную статью Конституции: «Общие правила международного права являются составной частью федерального права» и: «Международное право выше национального права».

Но где найти международное право? Оно же не кодифицировано. Общие правила международного права — где они? Но признавать это международное право требуют постоянные апелляции к нему и ссылки на веские свидетельства международного права и международных соглашений.

Я занимался этим в связи с вопросом о правах человека. Есть книга юриста Гурадзе. В ней я прочел об одном примечательном случае, может быть, единственном случае такого рода, происшедшем в Германии. В начале двадцатых годов тогдашний имперский верховный суд осудил двух офицеров флота — с ясной ссылкой на международное право — за то, что при их попустительстве не были спасены потерпевшие кораблекрушение англичане, которых без всякой опасности можно было спасти.

Аугштейн. Вы имеете в виду дело Дитмара — Больдта.

Ясперс. Слушалось оно в начале двадцатых годов. Дело это тогда не было обнародовано. Огласки опасались. Ведь вообще считалось, что междуна-

родное право имеет силу постольку, поскольку оно усвоено национальным правом. Конституция выпендренно заявляет, что международное право даже выше национального.

Судьи с творческой жилкой могут теперь опереться на это и объяснить, почему они приговаривают действительных участников убийств к самому тяжкому наказанию в Германии — к пожизненному тюремному заключению (разве что мы, как Израиль, примем закон, который при общей отмене смертной казни делает исключение для убийства этого рода).

Это возможно. В большинстве случаев они пока так не поступают, а держатся традиционных категорий и вылавливают из них то, что выловить из них вообще нельзя.

Аугштейн. В одном пункте я должен, стало быть, опять согласиться с вами. Когда дело касается защиты личного достоинства или бракоразводных вопросов, наш Федеральный суд вполне склонен к правотворчеству. Тогда он в своем судопроизводстве вступает даже в явное противоречие с буквой закона. Но это гражданское право. Возможно ли было, с этой точки зрения, чтобы Федеральный суд пошел вперед в направлении, вами указанном?

Ясперс. Все еще может произойти.

Аугштейн. Не могли бы вы в заключение сказать, что вы считаете наиболее существенным в решении вопроса о сроке давности?

Ясперс. Способом, каким оно будет принято и обосновано, языком наших парламентариев, тоном их высказываний оно будет свидетельствовать о морально-политическом складе нынешних высших руководителей Федеративной республики, а тем самым и о нынешнем состоянии самой Федеративной республики.

Решение, которое будет вынесено, мало что значит для материальной реальности. Но его значение для проявления нашей политической сущности неоценимо. Ибо многое в Федеративной республике решалось бы потом в ином направлении, чем до сих пор.

Будем ли мы заодно с единодушной совестью Запада или нет? Будем ли и в таких вещах вести себя как оппортунисты, колебаться, лукавить, хитрить? Заложим основу для новой лжи? Или серьезность нашей политической воли просто, безыскусно и убедительно заявит о себе в парламенте, который нас представляет?

Аугштейн. Господин профессор Ясперс, мы благодарим вас за эту беседу.

1965

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.	5
Введение в цикл лекций о духовной ситуации в Германии.	6
Вопрос о виновности.	15
А. Схема разграничений.	18
1. Четыре понятия виновности.	18
2. Последствия виновности.	23
3. Сила. Право. Милость.	24
4. Кто судит и о ком или о чем судят?	26
5. Защита.	31
Б. Немецкие вопросы.	34
I. Расчленение немецкой виновности.	38
1. Преступления.	38
2. Политическая виновность.	48
3. Моральная виновность.	51
4. Метафизическая виновность.	59
5. Выводы: а) Последствия виновности.	60
б) Коллективная виновность.	62
II. Возможности оправдания.	69
1. Террор.	69
2. Вина и историческая связь.	71
3. Вина других.	76
4. Вина всех?	83
III. Наше очищение.	87
1. Увиливание от очищения.	88
2. Путь очищения.	100
Послесловие 1963 года к моей статье «Вопрос о виновности».	106
Геноциду не может быть оправдания Беседа с Рудольфом Аутштейном.	112

Карл Ясперс

ВОПРОС О ВИНОВНОСТИ

Технический редактор *И. Б. Скакальская*
Корректоры *В. В. Евтюхина, О. Е. Косова*

ИБ № 20215 .

ЛР № 060775 от 07.03.97.

Подписано в печать 12.04.99. Формат 70х90/32.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 5,4. Усл. кр.-отт. 5,9. Уч.-изд. л. 5,6.

Тираж 1000 экз. Заказ № 10. Изд. № 49807.

ОАО Издательская группа «Прогресс»
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.

Отпечатано в цехе оперативной полиграфии
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.

**К сведению
заинтересованных читателей!**

***В Издательской группе
«Прогресс»***

готовятся к выходу в свет:

Зарубежная лингвистика. Вып. 1, 2, 3.

Г. Джеймс. Пресса.

Ж. Боден. Метод легкого познания истории.

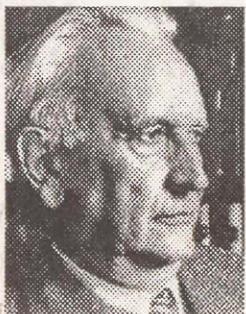
В наших планах:

А. Мейе. Общеславянский язык.

**Ф. де Соссюр. Заметки по общей
лингвистике.**

**Высек пламя Иллмаринен
(из серии «Фольклор народов мира»).**

*Обращаться в магазин
«Человек читающий»*



Карл Ясперс (1883—1969) — один из крупнейших мыслителей XX века, философ-экзистенциалист. Отстраненный в 1937 году от должности профессора Гейдельбергского университета, где преподавал с 1916 года, он был восстановлен в ней только по окончании вой-

ны. В последние годы жизни был профессором Базельского университета (Швейцария). Книги Ясперса десятки раз переводились на разные языки, имя его известно во всем мире, но, пожалуй, ни одна из его работ не получила такого отклика, как трактат «Вопрос о виновности», написанный после разгрома германского фашизма, в дни Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Включенное в книгу интервью с Рудольфом Аугштейном, основателем и поныне главным редактором еженедельника «Шпигель», отделенное от выхода трактата двумя десятками лет, свидетельствует о том, что и тогда, и даже теперь ясперсовские суждения не потеряли своей актуальности.

ISBN 5-01-004642-3



9 785010 046422

